

ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ

Из записок отставного надворного советника Щедрина.
Собрал и издал М. Е. Салтыков. Два тома. Москва. 1857¹

Давно уже не являлось в русской литературе рассказов, которые возбуждали бы такой общий интерес, как «Губернские очерки» Щедрина, изданные г. Салтыковым. Главная причина громадного успеха этих рассказов очевидна каждому. В них очень много правды,— очень живой и очень важной.

Мы не будем говорить о том, как много чести приносит русскому обществу то, что правда принята им с таким одобрением и участием. Не будем говорить и о том, как отрадно каждому, любящему свое отечество, это общее чувство, служащее свидетельством господства честной мысли в нашем обществе [столь часто осуждаемом и многими сторонами своего быта заслуживающем осуждения]. Это понимается каждым.

Не будем много говорить и о том замечательном обстоятельстве, что правда, высказываемая надворным советником Щедриным, правда, часто очень горькая, не вызвала со стороны немногих, которым она должна быть неприятна, тех ожесточенных нападений, какими двадцать и пятнадцать лет тому назад встречены были «Ревизор» и «Мертвые души». Значит, не даром прошел для нас опыт жизни; значит, или исчезли, или чувствуют себя ныне бессильными люди, которые [еще так недавно и так нагло] осмеливались говорить, что правда может быть вредна [что лесть и обман надобно предпочитать правде]. Это ослабление голосов, враждебных правде, не есть обстоятельство случайное, обнаружившееся только в последние годы, не есть явление непрочное по своей случайности: год за годом можно следить, как уменьшалась сила и самонадеянность литературных аристархов, находивших выгоднейшим для себя поддерживать незнание [и самообольщение]. Кроме друзей Пушкина, представителем которых в критике был князь Вяземский, и нескольких молодых людей, писавших в «Телескопе», все журналы негодо-

вали на «Ревизора». Через пять лет пользовался уже бесспорным превосходством в мнении публики тот журнал, который с восторгом встретил «Мертвые души». Но большинство нашей журналистики снова осудило Гоголя. Прошло еще пять лет, и не только большинство публики, но уже и большинство литераторов крепко стояло за г. Тургенева, когда он печатал «Бурмистра», «Контору», «Малиновую воду», «Бирюка» и проч. Но все еще очень многие и очень громкие голоса восставали против рассказов г. Тургенева. Теперь, если кто хотел, то никто не решился сказать что-нибудь против духа правды, оживляющего «Очерки» г. Щедрина. Когда десять лет тому назад была напечатана «Деревня» г. Григоровича, скольким упрекам подвергся автор! Но уж очень немногие решились выразить свое недовольство его «Рыбаками», которые явились через семь лет после того, а когда еще через три года, в прошедшем году, он написал «Переселенцев», никто не отважился и сказать, что не следует писать о переселенцах или можно писать иначе. Этих примеров довольно, чтобы засвидетельствовать постепенное усилие той стороны в нашем обществе и между нашими писателями, которая хочет правды, и постепенное изнеможение тех людей, которым противна правда. Кому интересно, тот может, припоминая суждения публики и журналов о каждом замечательном явлении нашей беллетристики, проследить, как с каждым новым годом возрастало убеждение в необходимости истины [для благосостояния нашей родины].

Мы только упоминаем об этом замечательном факте, но не останавливаемся на нем, потому что в настоящее время он очевиден для каждого. Бесполезно доказывать то, в чем никто не сомневается.

Но если для всех уже очевидно теперь, что необходимо для нас знать о себе правду, если большинство, одобряющее писателей, выказывающих ее, так огромно, что бывшие противники ее или сознаются в том, что прежняя вражда их была не справедлива, или лишились отважности защищать свое несправедливое дело, то далеко еще не все согласны в том, какой существенный смысл имеют сочинения, одобряемые всеми за правдивость. Все согласны в том, что факты, изображаемые Гоголем, г. Тургеневым, г. Григоровичем, Щедриным, изображаются ими верно, и для пользы нашего общества должны быть приводимы перед суд общественного мнения. Но сущность беллетристической формы, чуждой силлогического построения, чуждой выводов в виде определительных моральных сентенций, оставляет в уме многих читателей сомнение о том, с каким чувством надобно смотреть на лица, представляемые нашему изучению произведениями писателей, идущих по пути, проложенному Гоголем; сомнение о том, должно ли ненавидеть или жалеть этих Порфириев Петровичей, Иванов Петровичей, Фейеров, Пересечкиных,

Ижбурдиных и т. д.; надобно ли считать их людьми дурными по своей натуре, или полагать, что дурные их качества развились вследствие посторонних обстоятельств, независимо от их воли. Сколько можно заключать из журнальных отзывов и из разговоров, которые каждый из нас много раз имел случай слышать в обществе по поводу произведений, подобных «Губернским очеркам» Щедрина, надобно думать, что очень значительная часть, — быть может, большинство публики, склоняется на сторону первого мнения. Подьячий, рассказывающий надворному советнику Щедрина о «прошлых временах», восхищается тем, что в эти «прошлые времена» все было шито и крыто, взяточники не опасались никаких преследований и наживались очень спокойным образом; он восхищается бессовестными проделками Ивана Петровича и с некоторою гордостью вспоминает, что сам был не последним сподвижником этого удивительного изобретательного взяточника. Проделки, отчасти одобряемые, отчасти совершенные подьячим-рассказчиком, каждому образованному и честному человеку кажутся вредными для общества, гнусными, преступными; чувство негодования, ими возбуждаемое, очень легко переходит в чувство нравственного беспощадного осуждения человеку, совершившему или одобряющему эти дела, и очень многие из людей, восхищающихся «Губернскими очерками», объявляют его человеком очень дурным, совершенно бессовестным. Иные, пожалуй, скажут, что этот подьячий даже находит положительное удовольствие в совершении мошеннических проделок и низких преступлений; что он влечется к ним не одною только выгодой, но и душевным расположением. Он сам подает основание к такому понятию о себе; он прямо говорит, что в его времена люди, которых он хвалит, главное удовольствие свое находили не просто в том, что много получают денег, а в том, что получают их хитрым мошенничеством. «Вот-с какие люди бывали в наше время, говорит он: — это не то что грубые взяточники или с большой дороги грабители; нет, все народ — аматёр был. Нам и денег, бывало, ненадобно, коли сами в карман лезут; нет, ты подумай, да прожект составь, а потом и пользуйся, пожалуй». Одного из своих сослуживцев, который не был аматёром мошенничества, а просто из любви к деньгам брал взятки, подьячий этот просто осуждал, как профана, не понимающего высших наслаждений мошенничества. «Мы, чиновники, этого Фейера не любили, — говорит он: — у него все это как-то уж больно просто выходило, — так, ломит нахрапом с плеча, да и все. Что ж и за удовольствие этак-то служить!» Не правда ли, он сам выставляет себя бесом, любящим зло не только из выгод, доставляемых злом, но и для самого зла? Возьмем другой пример: Палахвостов, Ижбурдин и Сокуров, коммерческие люди, рассуждают о своих делах. Они прямо говорят, что коммерческий расчет должен состоять в мошенничестве. Они жалуется на медленность и рас-

ходы, соединенные с доставкой хлеба в Петербург водяным путем; но на замечание, что железные дороги избавят нашу торговлю от этих тяжелых затруднений, они прямо отвечают: «Для нас чугулки все равно, что разорение. Это (устроить железные дороги) для нас было бы все единственно, что в петлю лезть. Это все враги нашего отечества выдумали, чтоб нас как ни на есть с колеи сбить. Основательный торговец никогда в экое дело не пойдет, даже и разговаривать-то об нем не будет, по той причине, что это все одно, что против себя говорить». Почему же так? Потому что при перевозке товаров по железной дороге нет возможности ни обсчитывать рабочих в расчете, ни нарушать контракты на поставку товаров, сваливая вину на Волгу, потопившую или задержавшую суда. Торговле будет придано гораздо более живости и обширности, она будет доставлять более выгод, — нужды нет; все-таки железные дороги не нравятся Ижбурдину и его товарищам, потому что прекращают возможность мошенничества. Не ясно ли, что эти люди не просто корыстолюбивые, а любящие зло для самого зла, — любящие зло, хотя бы оно было даже вредно для них самих? Почти такие же черты можно отыскать почти во всех других людях, изображаемых Щедриным. Почти все они могут представляться, и действительно представляются многим из читателей, изъеденными нравственною порчею до глубины души, не сохранившими в себе никакого человеческого чувства [представляются гнусными извергами и мошенниками, скорее похожими на вампиров или бесов, нежели на людей. Из губернских очерков и других подобных им произведений нашей литературы, начиная с Гоголя, очень многие выносят убеждение, что Россия населена чудовищами, имеющими только наружность человека, но лишенными всех качеств человеческой души, всякого понятия о добре и правде].

Такой взгляд на людей, изображаемых Гоголем и его последователями, внушается негодованием, источник которого, конечно, благороден. Но тем не менее надобно сказать, что подобный взгляд поверхностен, что если мы внимательнее всмотримся в большинство людей, выводимых Гоголем и его последователями, то должны будем отказаться от слишком строгого приговора против этих людей. Мы не найдем возможности называть их людьми добродетельными: в самом деле, они совершают очень много дурных поступков, имеют много дурных привычек, держатся многих дурных правил, но все-таки нельзя сказать, чтобы большинство этих людей не имело в себе также многих хороших чувств. Чтобы убедиться в том, попробуем внимательнее посмотреть на людей, встречающихся нам в рассказах Щедрина. Мы берем его «Губернские очерки» для этого испытания, потому что ни у кого из предшествовавших Щедрину писателей, картины нашего быта не рисовались красками, более мрачными. Никто (если употреблять громкие выражения) не карал наших

общественных пороков словом, более горьким, не выставляя перед нами наших общественных язв с большею беспощадностью. У него нет ни одного веселого или легкого выражения, не только целого очерка, — у него нет не только целого рассказа, похожего на «Коляску», или на «Тяжбу», или на «Лакейскую» Гоголя, — нет двух строк, которые бы ни были пропитаны грустным чувством. Он писатель, по преимуществу [скорбный] и негодующий. Если кто из наших беллетристов, то, конечно, он приводит вас к самым тяжелым мыслям, к самым безотрадным заключениям. Посмотрим же, однако, каковы будут выводы о большинстве людей, им изображаемых, если мы пристальнее рассмотрим в жизнь этих людей.

В каждом обществе есть люди с дурным сердцем, с душой решительно низкою. И в древнем Риме, отечестве героев, были трусы, и в Германии, классической стране честности, есть люди коварные [недобросовестные]. Есть они и во Франции, и в Англии и в Соединенных Штатах. Есть такие люди и в нашем обществе. Попадают они и в числе лиц, выводимых Щедриным. Таков, например, Порфирий Петрович, принадлежащий к семейству Чичиковых, но отличающийся от Павла Ивановича Чичикова тем, что не имеет его мягких и добропорядочных форм и более Павла Ивановича покрыт грязью всякого рода; такова, например, мать приятного семейства, Марья Ивановна Размазовская; таковы два-три из числа преступников, находимых Щедриным в городской тюрьме; таков особенно безымянный господин, эlegantный и просвещенный, монолог которого мы читаем в очерке, имеющем заглавие «Озорники», — гнуснее этого человека читатель не находит во всей книге Щедрина. Этих людей защищать нельзя. Они действительно злы и ненавистны. Но в толпе лиц, выводимых Щедриным, они составляют очень малочисленное меньшинство, как действительно составляют меньшинство довольно малочисленное и в нашем обществе. Другие люди не таковы: в них вы откроете подле дурных качеств и некоторые черты, примиряющие нас с их личностью. Дурные поступки и привычки их извиняются обстоятельствами их жизни и нравственною близорукостью, навеянною на них туманной средой, в которой развились и живут они. Они часто не замечают разницу между хорошим и дурным, не умеют понимать дурноты многого дурного; но тех-то дел, дурноту которых они понимают, они стараются не делать; они отвращаются от таких дел, гнушаются ими; если же, по слабости характера, или по ошибке, или по тяжелому стечению обстоятельств, случится им сделать поступок, дурные стороны которого они понимают, то они осуждают себя за этот поступок и осуждают искренно. Таких людей нельзя назвать дурными по сердцу. Кроме того, они даже не лишены некоторых возвышенных и бескорыстных стремлений. «Как? в подьячем, рассказывающем о прошлых временах, или

в Ижбурдине с товарищами, вы находите вместе с дурными чертами и некоторые качества, заслуживающие извинения? — заметит иной читатель, безусловно их осудивший: — вы находите, что эти люди могут делаться людьми честными и, чего доброго, — вы, пожалуй, скажете, могут сделаться даже людьми добродетельными: не слишком ли много этим сказано?» Это мы посмотрим. Но прежде всего напомним, что не оправдывать или извинять их пороки мы хотим, а говорим только, что даже и в этих порочных людях человеческий образ не совершенно погиб, и, при других обстоятельствах, могли бы и эти люди отстать от своих дурных привычек.

Вот, например, разберем поближе обстоятельства и жизнь подьячего, рассказывающего о прошлых временах, и, быть может, мы увидим, что он в сущности не такой бессовестный и бездушный человек, как может представляться на первый взгляд. Если мы вздумаем судить по понятиям, отвлеченным от жизни, то, конечно, надобно будет сказать, что он мог найти в различных честных промыслах средство приобретать недостающие ему деньги. Он мог заняться каким-нибудь ремеслом. Так; но все эти занятия считаются неблагородными, и общество строго осудило бы заседателя. Можно ли порицать человека за то, что он, по своим понятиям, не выше того общества, в котором вырос и живет, или не имеет такой энергии характера, чтобы пойти наперекор общественным предрассудкам? Но одни ли предрассудки удерживали подьячего от других занятий? Нет, такие занятия были бы для него опасны: они повредили бы его службе. О нем подумали бы, что он службою занимается только для формы, пренебрегает ею для своего ремесла, и он скоро прослыл бы неисправным, нерадивым человеком. Это помешало бы его повышению по службе, а может быть, повлекло бы за собою и потерю того места, которое он уже занимал. Как бы то ни было, этот человек прежде всего чиновник и больше всего должен дорожить своею служебною карьерою. Можно ли осуждать его за то, что он не решается заняться делом, которое было бы вредно его служебной карьере? Кроме того действительно ли была ему возможность заняться каким-нибудь ремеслом? Нечего говорить о том, что ремесло требует изучения, а он не научен ничему. Но возьмем другое условие. Производителю нужны покупщики, а где бы он нашел их? Существующему запросу на товары уже удовлетворяют цеховые ремесленники и торговцы. Он не нашел бы покупателей для своих произведений или должен был бы продавать в убыток. И так заседателю земского суда неприлично пред обществом, вредно по службе, убыточно в экономическом отношении и, наконец, невозможно по личной его неприготовленности искать пособий для своего существования в каком-нибудь торговом или промышленном занятии. Но почему бы не заняться ему ходатайством по частным делам? Опять-таки прак-

тическая невозможность. Ходатайствовать по мелким делам вовсе невыгодно, как видим по образу жизни отставных уездных чиновников вроде Ризположенского (в комедии г. Островского «Свои люди — сочтемся») и Перегоренского (в «Губернских очерках»). Единственное вознаграждение, на которое они могут рассчитывать, — несколько рюмок или стаканов водки: домашний быт ходатая по делам не улучшится от таких вознаграждений. А ходатайство по важным делам нашему рассказчику о прошлых временах не поручат; для того выберут агента поважнее, нежели уездный чиновник или столоначальник губернского места. Но самое важное обстоятельство здесь та привычка, которую мы очень хорошо узнаем из Гоголя и его последователей. Люди, заинтересованные в каком-нибудь деле, находят, что гораздо удобнее для них обращаться с своими желаниями прямо к тем людям, в руках которых находится производство их дел, и считают вовсе невыгодным для себя иметь каких-либо других ходатаев по делам. При наших провинциальных нравах адвокаты совершенно излишни. Их советы совершенно заменяются усердием чиновников, производящих дело, которые всегда готовы помочь добрым советом тяжущемуся: они объяснят ему, как начать дело, какое направление давать ему, на какие законы опираться, какие средства употребить для направления дела в его пользу, — к чему же тут еще ходатай по делам, из людей посторонних производству дела.

Таким образом, посторонних средств к увеличению своих доходов для нашего подьячего не существовало. Он должен был извлекать все свои доходы единственно из своих должностных занятий. Он видел, как поступают другие, и видел для самого себя необходимость поступить таким же образом. Следовать примеру, дело очень натуральное, и никто не должен обременять какими-либо упреками человека, поступающего так, как поступают все. Хороша ли, дурна ли общая привычка, во всяком случае она уничтожает всякую заслугу или вину в человеке, ее держащемся. Но довольно ли сказать, что общая привычка только *извиняет* отдельного человека, ей следующего? Обычай никогда не возникает без причины; он всегда создается необходимою силою исторических обстоятельств. Если товарищи нашего рассказчика о прошлых временах и их предшественники с незапамятных времен подчинялись той же самой дурной привычке, как и он, — надобно думать, что были какие-нибудь обстоятельства, не допускаявшие их изменить этой привычке. Одно из этих обстоятельств указывает нам сам подьячий-рассказчик: «Жили мы как у Христа за пазушкой, говорит он. Съездишь, бывало, в год раз, в губернский город, поклонись чем бог послал благодетелям, и знать больше ничего не хочешь». В другом месте, начиная рассказывать о городничем Фейере, он замечает: «Начальство наше все к нему приверженность большую имело, потому как

собственно он из воли не выходил и все исполнял до точности: иди, говорит, в грязь — он и в грязь идет, в невозможности возможность найдет, из песку веревку сошьет, да ею же кого следует и удавит». Иначе сказать каждое общественное положение, давая человеку известные права, вместе с тем налагает на него и известные обязанности. Кто не хочет или не может исполнять обязанностей, возлагаемых на него положением, в которое он поставлен, тот должен лишиться и занятого им положения. В этом нет ничего несправедливого.

Возвратимся же к нашему рассказчику о прошлых временах. Мы заговорили о том, что он был бы не совсем прав, если бы не подчинялся общепринятым привычкам. Мы надеемся, что наши слова не будут поняты читателями в ложном смысле. Мы не сомневаемся в том, что многие привычки бывают соединены с некоторыми невыгодами и нуждаются в благоразумных изменениях. Мы хотим только сказать, что не всякому прилично действовать в противность общепринятым обычаям. Возьмем пример незначительный — наши моды. Фрак — костюм неудобный и неприличный. Надобно было бы желать, чтобы он был заменен сюртуком, пальто или каким-нибудь другим подобным костюмом. Если бы знаменитые люди в истории мод, д'Орсе или Бруммель, вздумали решительно восстать против фрака и начали бы являться на балы в сюртуках, очень вероятно, что их дело осталось бы не без влияния на моду. Но каковы будут результаты, если это захочет сделать какой-нибудь г. Иванов, Петров или Шапошников, и без того допускаемый в так называемое лучшее общество почти только из милости? Пусть он попробует явиться на бал в сюртуке или пальто, — его все назовут невежью; знакомые его деликатно намекнут ему, чтобы он удалился из общества, куда явился в неприличном костюме, и если он не послушается этих дружеских замечаний, сделанных ему шопотом, то они будут повторены уже вовсе не дружеским тоном другими людьми. Произойдет сцена, неприятная для хозяина дома, неприятная для всего собравшегося общества, а более всех неприятная для самого г. Иванова, Петрова или Шапошникова. Как бы ни были разумны и блестящи оправдания с его стороны, как бы ни были хороши его намерения, он все-таки принужден будет удалиться из общества, нравы которого оскорбил, спокойствие которого возмутил. Не легко будет потом ему возвратиться к себе снисходительное внимание, которым его до сих пор удостоивали, не легко будет снова получить доступ в лучшее общество, хотя бы он искренно раскаялся в своем неблагоприятном поступке. Если же он будет упорствовать в своей решимости — являться в сюртуке там, где все во фраках, то, конечно, он будет навсегда изгнан из таких собраний, и общественное мнение, по всей справедливости, объявит его человеком, которого нельзя принимать ни в какое порядочное общество. Вероятно, нет надобности при-

бавлять, что пример, поданный так неудачно и неприлично г. Ивановым или Петровым, не найдет ни одного подражателя; что пока памятен будет этот пример, каждый из людей, подобных этому Петрову и Иванову по своему положению в обществе, будет ужасаться при одной мысли восстать против фрака.

Мы взяли такое дело, исполнению которого нет решительно никаких препятствий, кроме привычки. Но только в таких ничтожных, чисто формальных вещах, как вопрос о фраке и сюртуке, привычка не имеет важных фактических оснований. Как скоро житейский вопрос имеет хотя малейший хороший или дурной смысл, общее привычное решение его бывает непременно основано на каких-нибудь важных житейских фактах. Возьмем, например, хотя бы дело о нашей старинной привычке пускаться в дорогу, набрав с собою многое множество всякой провизии. Тарантас завален булками, хлебами, жареными гусями и тому подобным. Неудобства возникают чувствительные: сесть неловко, поворотиться нельзя стесненному путнику; вздумал он опереться, — под локтем трещат банки с вареньем или солеными огурцами; вздумал протянуть ногу — грязный сапог втиснулся в индюшку или в сдобный пирог. Через день, зимою — все припасы замерзли и потеряли вкус, летом — начали портиться и неприятно отзываются на нервы обоняния. Все это справедливо, но что ж делать? Как было не брать с собою всех этих припасов, когда по дорогам не было возможности достать кусок белого хлеба, не везде можно было найти хотя бы десяток яиц или крынку молока?

Вы видите, что недостаточно было объяснить нашему путнику неудобства, которым его подвергает старая привычка. Быть может, он сам не хуже вас и без вас понимал все эти неудобства; быть может, он даже посмеялся бы над вашею охотою доказывать и раскрывать неудобства, и без того всем известные и очевидные. Тут надобно было сделать нечто другое. Это нечто другое уже и сделано на многих дорогах: устроены порядочные гостиницы; и, как видите, на этих дорогах без всяких толков со стороны поэтов, романистов, философов и филантропов или быстро исчезает, или уже совершенно исчезла привычка забирать с собою из дому груз съестных припасов. Можно прибавить еще одно замечание. Гостиницы не везде возникли по щучьему веленью, по Иванову прошенью: во многих местах они заведены мудрою предусмотрительностью администрации, и благое содействие, ею оказанное, было основанием всех улучшений в способах и привычках наших разъездов по родине.

Мы не имеем особенной склонности защищать предрассудки, но нельзя не сказать, что так называемые люди без предрассудков не всегда с достаточной внимательностью рассматривают основания, из которых возник обычай, кажущийся предрассудком. Вот хотя бы и в настоящем случае. Надобно ожидать, что

многие, имевшие терпение дочитать нашу статью до настоящей страницы, скажут: «Подьячего все-таки нельзя оправдать. Если ему нельзя было соединить своей карьеры с исполнением непрелюбимых нравственных убеждений, то зачем он избрал эту карьеру? Есть на свете много других честных занятий, не оставляющих честного человека без средств к довольству в жизни. Он увлекся предрассудком, заставляющим предпочитать службу всякому другому роду занятий». Предрассудок этот существует не у нас одних. Он очень силен также во Франции и в Германии. И в тех странах постоянно слышатся очень рациональные и многословные доказательства против него. Помнится, когда-то Тьер в очень длинной и блестящей речи доказывал, что напрасно молодые люди во Франции непременно хотят быть чиновниками: «будьте купцами, будьте ремесленниками, будьте земледельцами, — говорил он своим юным соотечественникам. — Поверьте, что этот род занятий будет и выгоднее для вас и полезнее для вашей родины». Затем он обращался к отцам и матерям и заклинал их всем священным на земле и на небе: любовью к отечеству, любовью к детям, не допускать к себе и мысли о том, чтобы воспитывать детей для чиновничества, и ни под каким видом не позволять этим неопытным птенцам совращаться с полезного и почтенного поприща земледельческого, промышленного и т. п. Не оказали ни малейшего действия эти благонамеренные увещания. Вероятно, потому, что факты не уступают никаким увещаниям, а подчиняются только силе других фактов. Поэтому надобно думать, что во Франции и Германии предпочтение чиновнической карьеры всякому другому роду занятий не есть только предрассудок, а основывается на каких-нибудь фактах. И не трудно отыскать эти факты. Во Франции, например, еще не очень давно, только личность тех людей, которые занимались государственной службой, была ограждена от оскорблений и унижений всякого рода. Какой-нибудь интендант мог ни за что, ни про что посадить в тюрьму самого почтенного и богатого негоцианта и постоянно третирует его почти так же, как своего лакея. На интенданта нельзя и сердиться за то. У него и его подчиненных была в руках решительно вся власть, и очень естественно было ему, человеку, облеченному властью, смотреть на людей, не имевших никакой власти, как на людей другой, низшей породы. А как скоро образовалось такое понятие о различии пород, ход дела известен. С людьми низшей породы, конечно, не будут обращаться так, как с подобными себе. Пример тому мы видим в отношениях между различными расами в Северо-Американских Штатах: белый с белым там чрезвычайно деликатен, но с черным обращается он совершенно иначе. Некогда было предпочтение службы всем другим занятиям и в Англии. Там оно основывалось на другой причине, известной нашим читателям из рассказов Маколея. С служебными должно-

стями были соединены огромные доходы. В конце XVII века не было в Англии ни одного негоцианта, ни даже землевладельца, который доходами своими равнялся бы лорду наместнику Ирландии или лорду президенту. Мало было землевладельцев или негоциантов, которые получали бы по пяти тысяч фунтов; но в государственной службе было много таких мест, которые доставляли по 5 000 фунтов дохода. В Англии факты, на которых основывалось предпочтение службы всякому другому занятию, давно исчезли. Вслед за ними исчезло и пренебрежение всякою другою карьерою для служебной. Во Франции те отношения, о которых упомянули мы, не совсем еще исчезли. Потому еще продолжает существовать во французском обществе и предпочтение службы всем другим занятиям. Вообще надобно сказать, что общественные предубеждения и пристрастия быстро исчезают из нравов народа, как скоро уничтожаются факты, которыми они поддерживались. Если же какой-нибудь обычай, повидимому, неразумный и невыгодный, упорно держится в народных нравах, то не спешите называть его просто следствием предубеждений. Надобно прежде поискать, не опирается ли он на каких-нибудь фактах? Осуждать национальные обычаи очень легко, но зато и совершенно бесполезно. Упреками делу не поможешь. Надобно отыскать причины, на которых основывается неприятное нам явление общественного быта, и против них обратить свою ревность. Основное правило медицины: «отстраните причину, тогда пройдет и болезнь», *sublata causa, tollitur morbus*.

Мы не расположены осуждать подьячего прошлых времен за его пристрастие к службе уже и потому, что если бы он оставил службу, его место было бы занято другим, который находился бы точно в таком же положении. Следовательно, тут изменение могло бы быть только в фамилии лица, а не в сущности дела.

[Но с другой стороны мы вовсе не расположены придавать особенную важность мнениям тех людей, которые слишком много стали бы говорить о недостаточности жалованья, получаемого подьячим прошлых времен. В этом случае примером может служить Франция. Там очень много говорили и говорят о недостаточности жалованья, получаемого огромным большинством служащих людей, и при этом ссылаются на Соединенные Штаты, где последний чиновник получает очень значительное содержание. Но при этом сравнивают французы о том, что число чиновников во Франции в пятьдесят раз больше, нежели в Соединенных Штатах. Когда однажды вздумали было во Франции серьезно приняться за этот вопрос, то оказалось, что во Франции число людей, состоящих на гражданской службе, простирается до полумиллиона человек, и оказались несбыточными мечты обеспечить достаточным жалованьем такую громадную орду. Все увидели недостаточность французского бюджета на удовлетворение требованию, повидимому, очень справедливому,

и основательные люди пришли к той мысли, что обширность и многосложность французского государственного механизма ставит эту страну в положение совершенно отличное от положения Соединенных Штатов по вопросу о жалованье. Дело в том, что нельзя по произволу переделывать стену здания, которая казалась неприятною для французов. Она связана с другими частями здания.]

Мы опять далеко уклонились от нашего подьячего прошлых времен, вовсе не подозревавшего, что кто-нибудь может сказать ему: зачем ты предпочел службу какому-нибудь ремеслу? Наверное, он нашел бы такой вопрос нелепым, и весь тот городок, в котором он служил, также в один голос объявил бы этот нелепый вопрос действительно нелепым. Так или иначе, наш подьячий служил и не мог не сообразоваться на службе с общепринятыми правилами. Посмотрим же теперь, какова была его служба и справедливо ли было бы сказать, что он действовал на службе против своей совести или оскорбил чем-нибудь общее мнение, которым воспитался и руководился. Он человек не без грехов; но что ж в том особенного? Все мы смертны и грешны. Героев добродетели во все времена и у всех народов очень мало. Он брал взятки, это правда. Но его товарищи делали то же самое, и даже те люди, с которых он брал взятки, были убеждены, что без благодарности ни одно дело никем не делается. Все они осуждали только таких взяточников, которые, взяв деньги, не исполняют дело, за которое получена взятка, или прибегают к особенному обману, или к особенным жестокостям. Он ничего такого не делал. Рассмотрим его похождения. Он приехал в Шарковскую область для собрания подати. Поселяне знают, что подать нужно заплатить, но они просят его подождать до того времени, пока они продадут новый хлеб. Согласиться или не согласиться на эту просьбу — в его власти: он имеет право требовать подати теперь же. За каждую добровольную уступку человек может ожидать вознаграждения от тех, в пользу кого делается уступка. Так думают поселяне, так думает и он. Потому обьем сторонам кажется очень естественным требование нашего подьячего прежних времен, чтобы ему за его снисходительность дали приличное вознаграждение. Конечно, как и при всякой сделке, тут происходят споры о цифре. Конечно, сторона, дающая вознаграждение, не совсем охотно расстается с деньгами; но и тут нет ничего особенного: сама по себе уплата ни для кого ни в каком случае не есть что-либо приятное. Против такого понятия читатель заметит, что точка зрения, с которой смотрят на изложенное нами дело подьячий и поселяне, совершенно фальшива. Конечно, эти люди ошибаются в своих понятиях, но дело не в том. При обсуждении вопроса: честно или бесчестно поступает человек, должно смотреть не на то, справедливы ли его убеждения, а на то, действительно ли он поступает сообразно своим убеждениям.

Перечитав рассказы подьячего прошлых времен, мы видим, что он во всех делах поступал согласно своему убеждению о сущности своего звания, своих прав и своих обязанностей и что это убеждение разделялось теми людьми, с которыми он заключал свои сделки. Потому образ его действий вообще не заслуживал особенного порицания.

Как человек, не отличавшийся ни гениальным умом, ни железным характером, он иногда подчинялся влиянию людей, натура которых была сильнее его натуры, — и в том нет ничего особенно бесчестного. Когда эти сильнейшие натуры бывали дурны, наш подьячий вовлекался в такие поступки, которых не сделал бы сам по себе. Однако ж и тут мы не видим, чтобы он слишком далеко уклонялся от правил, внушаемых ему его убеждениями. Разберем самое дурное из этих дел. Чтобы читатель не мог предполагать укрывательства каких-нибудь обстоятельств из пристрастия к нашему подьячему, мы вполне выпишем весь этот эпизод.

«Жил у нас в уезде купчина миллионщик, фабрику имел кумачную, большие дела вел. Ну, хоть что хочешь, нет нам от него прибыли, да и только! так держит ухо востро, что на-поди. Разве только иногда чайком попотчует, да бутылочку холоденького разопьет с нами — вот и вся корысть. Думали мы, думали, как бы нам этого подлеца-купчишку на дело натравить — не идет, да и все тут, даже зло взяло. А купец видит это, смеяться не смеется, а так, равнодушествует, будто не замечает.

«Что же бы вы думали? Едем мы однажды с Иваном Петровичем на следствие: мертвое тело нашли неподалеку от фабрики. Едем мы это мимо фабрики и разговариваем меж себя, что вот, подлец, дескать, ни на какую штуку не лезет. Смотрю я, однако, мой Иван Петрович задумался, и как я в него веру большую имел, так и думаю: выдумывает он что-нибудь, право, выдумывает. Ну, и выдумал. На другой день, сидим мы это утром и опохмеляемся.

«— А что, — говорит: — дашь половину, коли купец тебе тысячи две отвалит?»

«— Да что ты, Иван Петрович, в уме ли — две тысячи!»

«— А вот увидишь; садись и пиши:

«Свиногорскому 1-й гильдии купцу, Платону Степановичу Троекурову. Ведение. По указанию таких-то и таких-то поселян (валяй больше) вышепоименованное мертвое тело, по подозрению в насильственном убийстве с таковыми же признаками бесчеловечных побоев, и притом рукою некоего злодея, в предшедшую пред сим ночь скрылось в фабричном вашем пруде. А посему благоволите в оный для обыска допустить».

«— Да помилуй, Иван Петрович, ведь тело-то в шалаше на дороге лежит!

«— Уж делай, что говорят.

«Да только засвистал свою любимую: «При дороженьке стояла», а как был чувствителен и не мог эту песню без слез слышать, то и прослезился немного. После я узнал, что он и впрямь велел сотским тело-то на время в овраг куда-то спрятать.

«Прочитал борода наше ведение, да так и обомлел. А между тем и мы следом на двор. Встречает нас, бледный весь.

«— Не угодно ли, мол, чаю откушать?»

«— Какой, брат, тут чай! — говорит Иван Петрович: — тут нечего чаю, а ты пруд спущать вели.

«— Помилуйте, отцы родные, за что разорять хотите?»

«— Как разорять! видишь, следствие приехали делать, — указ есть.

«Слово за словом, купец, видит, что шутки тут плохие, хоть и впрямь пруд спущай; заплатил три тысячи, — ну, и дело покончили. После мы по пруду-то маленько поехали, крючьями в воде потыкали и тела, разумеется, никакого не нашли. Только я вам скажу, на угощеньи, когда уж были мы все выпивши, и расскажи Иван Петрович купцу, как все дело было; верите ли, так обозлилась борода, что даже закоченел весь! Ведь этакое, подумаешь, ожесточение в людях бывает».

Дело очень дурное, скажет читатель, и мы скажем вместе с ним, только прибавим: очень дурное по нашим понятиям, но не по мнению людей, в нем участвовавших: с их точки зрения также было в этом деле обстоятельство, не совсем похвальное; но каково это обстоятельство, мы узнаем от них самих. Чиновникам не было прибыли от богатого фабриканта. Чиновники считали фабриканта дурным человеком за то, что он не исполняет своих обязанностей относительно к ним (наш подьячий прямо называет его подлецом); сам фабрикант смотрел на себя не как на человека, отклоняющего несправедливые притязания, а как на человека, который, по своему уму и своей ловкости, умеет уклоняться от исполнения невыгодных для него обязанностей. Чиновники обижены, купец гордится своим торжеством над ними. («Думали мы, думали, как бы нам этого подлеца-купчишку на дело натравить — не идет, да и все тут, даже зло взяло. А купец видит это, смеяться не смеется, а так, равнодушествует, будто не замечает».) Наконец чиновники перехитрили купца и получили от него прибыль. Купец озлобился; но за что? За то ли, что с него взяли деньги? Нет. Хотя ему неприятно было платить, но он полагал, что обязан заплатить. Отдавши деньги, он начинает пировать вместе с чиновниками и вместе с ними наливается пьян. Этого он не сделал бы, если бы считал себя обиженным. Как человек гордый, он ушел бы из-за стола, если б чувствовал себя обиженным; как человек хитрый, он бы нашел благовидный предлог уйти. Но этого не было. Как видим, до сих пор обе стороны остаются довольны полюбовною сделкою. Но когда все были навеселе, Иван Петрович рассказал фабриканту свою хитрую выдумку — похвастался тем, что перехитрил его. Тут фабрикант обиделся, рассердился. За что же рассердился? Очевидно, за то, что нашелся человек хитрее его и хвастается в глаза ему тем, что перехитрил его. Мы с самого начала сказали, что между людьми, выводимыми в «Очерках» Щедрина, есть люди, дурные, достойные порицания, что Иван Петрович принадлежит к таким людям, что мы не хотим защищать его. Иван Петрович действительно был виноват и в этом случае; однако в чем же состоит его проступок в этом деле? Он похвастался, он затронул амбицию человека, — это не деликатно. Но, осуждая не деликатность Ивана Петровича, не забудем, что он начал хвастаться, когда был уже навеселе. Пока он был трезв, он был

скромен. И тут, как во многих случаях, лишняя чарка испортила дело.

За пристрастие к чарке осуждает Ивана Петровича и наш подьячий, как осуждали, конечно, все благомыслящие люди. Если бы вы увидели те пирушки, в которых участвовал наш подьячий, эти пирушки показались бы вам, без сомнения, грязны и гадки. Но это потому, что вы человек другого воспитания, других привычек. Не будьте слишком строги к людям, не имевшим случая приобрести изящные манеры и тон лучшего общества. Ведь вы не осуждаете вашего приятеля, когда он за обедом выпивает стакан бургонского или шампанского? Вы находите дурным только то, если ваш приятель пьет неумеренно. Точно так же судит и наш подьячий. Он строго осуждает Ивана Петровича за подобный порок: «был в Иване Петровиче грех, — говорит подьячий, — к напитку имел не то что пристрастие, а так какое-то остервенение. Конечно, и все мы этого придерживались, да все же в меру: сидишь себе да благодумствуешь, и много-много что в подпитии; ну, а он, я вам доложу, меры не знал, напивался даже до безобразия лица». Видите ль, наш подьячий не только не пьяница, он гнушается пьяницами. Видите ли, если случилось ему в дружеской беседе выпить несколько рюмок, то никогда не напивался он допьяна. Ни один из друзей, ни мать, ни жена, конечно, не осуждали его за то, что он не отказывается от рюмки водки.

[Теперь мы достаточно приготовлены к тому, чтобы беспристрастно смотреть на подьячего старых времен. Но у нас остается еще одно сомнение: вы готовы считать его бессовестным взяточником, как готовы были считать его грязным пьяницей. Последнее предубеждение ваше против него оказалось несправедливым. Несправедливым окажется и первое, если вы внимательнее вслушаетесь в его слова. Взятка, по его мнению, есть полюбовная сделка. [Понятие это принадлежало не ему одному, а всему обществу, в котором он жил. Припомним то, что говорили мы выше. Для того, чтобы сделка не была достойна порицания, по законам всех народов и по единодушному мнению всего человеческого рода, при ее заключении должны быть соблюдены два условия. Во-первых, согласие на нее должно быть совершенно добровольно с обеих сторон. Во-вторых, обе стороны должны иметь твердое намерение исполнить то дело, совершение которого поставляется им в обязанность заключаемым договором. Точно так думал и наш подьячий, и не только думал, но и поступал согласно этим правилам.] Он никогда не прибегал для заключения сделки к мерам, которые бы казались насильственными в глазах его и общества, среди которого он жил («истязаний и вымогательств» он не употреблял сам и не одобрял в Иване Петровиче). Мало того, свои желанья он выражал деликатным и ласковым образом. («И все это ласковым словом», — говорит он сам.) Итак, он был человек мягкого характера. За уступки и льготы, которые

давал он поселянам, получал он вознаграждение — это правда, но каким образом получал его? Приедет он в село по какому-нибудь делу; поселяне просят, чтобы он скорее отпустил их. «Тут и смекаешь: коли ребята сговорчивы, отчего ж им и удовольствие не сделать? а коли больно много артачиться станут, ну, и еще погодят денек, другой. Главное тут дело характер иметь, не скучать бездельем, не гнушаться избой да кислым молоком. Увидят, что человек-то дельный, так и поддадутся, да и как еще: прежде по гривенке, может, просил, а тут шалишь! по три пятака, дешевле и не могли и думать». [Не ясное ли дело, что он человек не только добрый, но и не корыстолюбивый до излишества. Ведь с самого начала он мог потребовать по три пятака, и, однако ж, он не требует. Он удовлетворяется двумя пятаками, чтобы мушкетеркам не было обидно. К явному ущербу для себя он рад сделать им удовольствие, если только видит, что они люди хорошие, сговорчивые, как и сам он. Не только он честно соблюдает первое условие справедливости всякого договора, именно: предоставление цен добровольному соглашению без всякого насилия, он даже готов делать уступки с своей стороны, готов требовать меньше, нежели мог бы получить. Это уже черта качества высшего, нежели простая справедливость. Это — черта великодушия. Не менее безукоризненно поведение нашего подьячего и относительно другого условия полюбовных сделок, именно: относительно точного выполнения обязательств, принятых на себя по договору. Об этом не нужно много говорить. Каждый читатель, не понаслышке, а по опыту знающий быт, описываемый Щедриным, не усомнится в том, что наш подьячий прошлых времен, подобно огромному большинству своих товарищей, очень точно исполнит те дела, исполнить которые обязался договором. Эту безукоризненную точность он, его товарищи и все те люди, с которыми имели они дела, справедливо ставили выше того обычая, по которому иные люди, чуждавшиеся добровольных сделок, не оказывали людям, в них нуждавшимся, того содействия, которое могли бы оказать. «Брали мы, правда, что брали, говорит подьячий, да ведь и то сказать: лучше что ли денег-то не брать, да и дела не делать?»]

Таким образом, самый предубежденный против нашего подьячего читатель должен согласиться, что в общественной деятельности этого подьячего не было ничего, считавшегося дурным или нечестным во мнении как этого подьячего с его товарищами, так и тех людей, которые имели с ними дело. Напротив, были черты, свидетельствовавшие о мягкости, доброте характера, о благорасположении ко всякому хорошему человеку, о желании каждому принести пользу. [Мы опасаемся одного. Наша публика имеет склонность находить иронический и тонкий смысл в том, что говорится совершенно прямо. Быть может, кому-нибудь вздумается полагать, что мы шутим, защищая личность подьячего прошлых

времен. Шутка эта была бы очень плоска. Мы говорим совершенно прямо и просто, употребляя все слова в прямом их смысле]. Поступки, совершаемые подьячим, дурны. Люди с подобными ему понятиями вредны для общества. Но из этого не следует, чтобы сами по себе эти люди непременно были дурными людьми. Повторяем то, что уже несколько раз говорили выше. Хвалить и бранить можно только людей эксцентрических, поступающих не так, как поступает огромное большинство людей в их время и в их положении. Привычки и правила, руководящие обществом, возникают и сохраняются вследствие каких-нибудь фактов, независимых от воли человека, им следующего; на них надобно смотреть непременно с исторической точки зрения. В каждом классе общества, какой бы стране, какому бы времени ни принадлежало это общество, каковы бы ни были понятия и привычки, им приобретенные вследствие исторических обстоятельств, огромное большинство людей [все-таки остается людьми не дурными по сердцу. Если вам не нравятся некоторые понятия и привычки этих людей, подумайте о том, на каких обстоятельствах основываются эти дурные привычки. Постарайтесь изменить эти обстоятельства, и тогда вы увидите, что быстро исчезнут дурные привычки. По природе своей] всегда имеет склонность к доброжелательству и правде. [Если в том или в другом веке, в той или другой стране вы замечаете в целом ли народе или в известных классах общества обычаи, несообразные с этими врожденными и неотъемлемыми наклонностями человеческой природы, не вините в том людей, вините обстоятельства их исторической жизни].

[Если мы успели убедиться в том, что подьячий прошлых времен, хотя и держался привычек, вредных для общества, не делал, однако же, в своей должностной жизни ничего такого, что давало бы нам право приписывать лично ему какие-нибудь особенно дурные душевные качества, — если мы успели убедиться в этом, то еще гораздо легче будет нам убедиться, что в частной своей жизни он был человеком положительно хорошим. Он жил в приязни со своими товарищами и обществом. Не говорите, что то была приязнь, связывающая шайку грабителей. Во-первых, не одни сотоварищи принадлежали к числу его приятелей. Тут были не только люди, с которыми он делился взятками, но также и люди, с которых он брал взятки. И кроме того, конечно, много таких людей, которые не давали ему и не брали с него взятки. Уездный город не есть одна какая-нибудь шайка. Он состоит из множества кружков, интересы которых различны и даже противоположны. Целого общества вовлечь в состав кружка нельзя, а наш подьячий пользовался добрым мнением не только в своем городе, но и в целом уезде. О том сотовариществе, к которому он принадлежал, мнения были, конечно, различны. Те классы людей, которые терпели от привычек, общих всему сотовариществу, конечно, смотрели на все это сотоварищество враждебными глазами.

Но лично о нашем подьячем никто не говорил ничего дурного. В те времена, когда велась постоянная война между Англиею и Франциею, конечно, каждый француз говорил, что вообще англичане нация корыстолюбивая и чуть не преступная. Многие из французов, конечно, готовы были стереть с лица земли всю Англию со всеми ее жителями. Но, однако же, встречаясь с каким-нибудь мистером Броуном или Джонсоном, француз, ненавидевший англичан, должен был признаваться, что в частности этот мистер Джонсон или Броун человек честный и хороший].

Нет надобности доказывать, что наш подьячий старых времен был хорошим семьянином. С этой стороны он очень точно обрисован г. Островским в последней его комедии. Белогубов — большой руки взяточник; но посмотрите на него в домашнем быту, и вы убедитесь, что он человек очень добрый и в родственных отношениях даже благородный. Тот, кто щедро помогает своей бедной теще, при всей несносной сварливости ее характера, кто не жалеет ничего, чтобы помочь бедной свояченице и ее мужу, хотя этот муж постоянно оскорблял и оскорбляет его самым чувствительным образом, тот, воля ваша, не есть дурной человек.

Мы очень долго останавливались на рассказах подьячего о прошлых временах, [стараясь показать, что этот подьячий и огромное большинство его товарищей вовсе не были людьми дурными]. Не знаем, нужно ли было так подробно доказывать нашу мысль, справедливость которой очевидна для каждого, опытом изведавшего жизнь и людей и не остановившегося на бесплодном чувстве разочарованности, чувстве, приличном неопытному юноше, воображающему себя и всех на свете героями и красавцами, но нелепо в человеке, который уже привык смотреть на свет глазами беспристрастного наблюдателя. Лично нам казалось бы даже скучно толковать о таких несомненных вещах. [Но у нас многие привыкли говорить о том, что язва взяточничества неисцелима, что весь многочисленный класс так называемых взяточников состоит из каких-то извергов, недостойных имени человеческого и никогда ни при каких обстоятельствах не могущих сделаться из людей гибельных для общества людьми достойными уважения и действительно полезными для своей родины.]

Было бы утомительно и бесполезно столь же долго останавливаться на других типах взяточников, выводимых Щедриным, кроме тех немногих, дурных по сердцу людей, на которых мы указали в начале статьи и которые могут служить для рельефности картины, но по своей малочисленности не могут иметь особенной важности в общественных вопросах: о каждом из остальных взяточников надобно сказать почти то же самое, что о подьячем прошлых времен. Сходства между ними гораздо больше, нежели различия, которая вообще ограничивается только различием темпераментов: у одного характер вспыльчивый, у другого — спокойный; у одного — прямой, у другого — скрытый; у одного — ве-

сельный, у другого — печальный или скучный; у одного — смелый, у другого — боязливый. С точки зрения, на которую мы стали, эта разница не имеет первостепенной важности. Известно, что различие темпераментов не мешает почти одинаковому подчинению всех людей общественным привычкам и понятиям и неотразимому влиянию общих исторических фактов. Вместо того, чтобы о каждом из этих людей повторять почти то же самое, что мы должны были сказать о подьячем прошлых времен, мы взглянем на представителей другого класса людей, послушаем беседу трех негоциантов о том, «что такое коммерция?» Мы уже замечали, что, подобно подьячему прошлых времен, Палахвостов, Ижбурдин и Сокуров могут представляться поверхностному взгляду людьми, лишенными всякого понятия о честности, «аматёрами» зла, по выражению подьячего прошлых времен. Каждый из них совершенно хладнокровно и даже с похвальбою говорит о своих мошенничествах. Каждый думает только о том, как бы придумать обман похитрее. Но когда мы беспристрастно выслушаем их показания о причинах, принуждающих их вести свои дела подобным образом, то придем к заключению такому же, какое сделали о подьячем прошлых времен. [Лично каждый из них не виноват в том, что ведет свои дела так, а не иначе. Обстоятельства не дают им возможности иначе вести торговлю. Обычай, которому они следуют, так всеобщ и необходим, что они даже не имеют понятия о лучшем способе торговли.]

Людям, составляющим огромное большинство публики, частный быт наших купцов менее известен по опыту, нежели быт чиновников. Почти каждый из нас имеет в числе своих близких знакомых несколько провинциальных чиновников. Это составляет важную выгоду для отвержения предрассудков против нравственных качеств чиновничьего класса. Находя в числе своих знакомых чиновников людей, достойных полного уважения в частном быту, каждый из нас уже до некоторой степени расположен выслушивать апологию чиновничьего класса вообще. Не таково отношение большинства публики к классу купцов. Быть может, половина наших читателей не имела с купцами никаких других сношений, кроме деловых. Сошлемся же на свидетельство тех из наших читателей, которые имели случай близко сходитья с купцами, как добрые знакомые, бывали в купеческих семействах, подобно Щедрину, домашними людьми. Конечно, ни один из них не откажется согласиться с Щедриным, выводящим в рассказе «Христос воскрес» светлые личности этого сословия. Мы нимало не расположены считать купеческий, или мещанский, или крестьянский быт идеалом русской жизни, мы совершенно признаем верность тех красок, какими рисуются купцы в «Ревизоре» и «Женитьбе» Гоголя, в комедии г. Островского «Свои люди — сочтемся» и в сцене Щедрина «Что такое коммерция?» Но беспристрастие обязывает нас сказать, что люди, подобные Подхалюзину (в ко-

медии г. Островского), должны быть отнесены к исключениям, довольно малочисленным. Все те добрые качества, которыми любит гордиться русский народ, принадлежат также огромному большинству наших купцов. Каковы бы ни были их нравы и привычки, но вообще они люди не только доброжелательные, но и положительно добрые. Готовность помочь и услужить сильна почти в каждом из них. Дай бог, чтобы в других классах нашего народа и в людях других земель было так сильно развито сознание обязанности — дать средства к приобретению независимого положения тем людям, доброй службе которых обязан бывает человек своим собственным благосостоянием: редкий из наших провинциальных купцов, если имеет верного прикащика, не заботится о том, чтобы вывести его в люди, поставить на ноги, сделать его самого купцом. Каковы бы ни были отношения обыкновенного купеческого образа мыслей к понятию гуманности, но должно сказать, что с прислугою своею купцы обращаются очень гуманно. Каждый, кто знаком с нравами купцов, легко увеличит этот слишком краткий эпизод еще многими чертами, внушающими уважение к добрым качествам нашего купеческого сословия в частной жизни.

Если мы обратимся к изучению картины делового, общественного быта наших купцов, представляемой сценою Щедрина «Что такое коммерция?», прежде всего мы увидим зависимость купеческих дел от чиновников. Очень многие из наших купцов занимаются подрядами и поставками. В большей части провинций таково главное занятие большей части значительнейших купцов. По общему закону торговли во всех странах, образ ведения коммерческих дел определяется тем порядком, каким ведут их перво-степенные торговцы. Кроме того, каждый торговый человек имеет по своим делам ежедневную надобность в полицейском управлении и судебном покровительстве. Таким образом, привычки, издавна приобретенные чиновничьим классом, определяют своим характером и порядок нашей торговли. После этого важнейшего обстоятельства надобно принять в соображение медленность и неверность торговых оборотов, происходящую от употребительных доселе средств сообщения. Хлебная операция до сих пор требовала у нас целого года времени, иногда почти двух лет. При таком продолжительном сроке оборотов все шансы могут измениться. Почти таково же положение двух других важнейших после хлеба отраслей нашей торговли — торговли салом и льном. Удивительно ли, что, под влиянием двух столь важных обстоятельств, купечество наше принуждено было прибегать к оборотам, чуждым правильной торговле? [Если характер этих оборотов заключает в себе нечто предвсудительное или нечто не совсем выгодное для национального благосостояния, то купечество наше вынуждено было приобрести эти привычки необходимостью вещей, а не каким-нибудь самопроизвольным побуждением]. Не забудем и того

обстоятельства, на которое часто с прискорбием указывают политико-экономисты. У нас нет старинных больших торговых домов. Обыкновенно богатые наши торговцы бывают люди, не наследовавшие никакого капитала, а бывшие в молодости торговцами очень бедными. Нет ничего удивительного, что они сохраняют привычки мелочной торговли и тогда, когда посредством оборотов, ей свойственных, приобрели значительный капитал. Дети их обыкновенно спешат променять торговую деятельность на служебную. Эта привычка сильно осуждается многими. Но мы уже видели, что обычай всегда проистекает из фактов быта. Осуждать людей за то, что они подчиняются влиянию фактов, невозможно. Справедливо только то, что некоторые факты имеют влияние, невыгодное для общества. От перехода разбогатевших купеческих родов к другим занятиям вся внутренняя торговля наша находится в руках людей, которые или не имеют значительных капиталов, или сохранили привычку вести свои дела тем порядком, каким ведут их люди, не имеющие капиталов. При недостатке капиталов торговец не может вести своих дел правильным образом. Необходимо заставляет прибегать его к изворотливости. Значительные торговцы в других странах, противодействующие такому порядку своим примером и торговым влиянием, у нас почти всегда сами следуют той системе, какой держатся незначительные торговцы. Если мы сообразим силу всех этих обстоятельств, то не будем понапрасну обвинять личный характер людей торгового класса. [Не оттого держатся они неправильных привычек в коммерческих делах, что привычки эти приятны им, но оттого, что подобный образ действия налагается на них сплюю обстоятельств, не зависящей от личной воли.] Мы опять прибегнем к сравнению, заимствованному от одежды и путешествий. Если вам придется в январе месяце ехать из Казани в Москву в обыкновенных наших саях, я не имею права предполагать в вас недостатка вкуса за то, что вы надеваете безобразные меховые сапоги. Быть может, вы человек, отличающийся необычайною любовью к изяществу, во всяком случае достоверно то, что вы не хуже моего чувствуете тяжесть меховых сапог и неудобство ходить в них. Но что же вам делать? Возможно ли вам отправляться в вашу дорогу без этих неуклюжих и тяжелых сапог? Я не имею даже права осуждать вас, если вы презрительно посмеетесь над моими выходками против ваших меховых сапог. Но лучше не сердитесь на меня, а спокойно отвечайте, что когда у вас будет теплый возок и медвежье одеяло для ног, то вы без всяких указаний с моей стороны будете путешествовать зимою в тех самых легких, удобных и красивых сапогах, которые носите дома.

Купцы, выводимые Щедриным, сами указывают нам обстоятельства, под влиянием которых установились привычки их торговли. Мы заимствуем из их разговоров две-три страницы. Палахвостов, старик, начавший с гроша и наторговавший себе

большое состояние, с некоторою насмешкою замечает Ижбурдину, человеку средних лет, только еще стремящемуся к цели, уж достигнутой Палахвостовым, что он, Ижбурдин, мечется во все стороны, хватается за все отрасли торговли, а не торгует одним предметом, как, например, хлебом. Подле этих двух главных лиц сидят: Сокуров, юноша, мечтающий о том, как он будет жить на благородную ногу, когда получит наследство после старика Сокурова, купца миллионера, и Праздношатающийся, нечто вроде фельетониста с европейскими понятиями обо всем, между прочим и о торговле. Ижбурдин отвечает на замечание Палахвостова указанием невозможности заниматься одною отраслью торговли человеку, не имеющему большого капитала:

«Да куды же я с одним-то предметом сунусь! Ноньче, вон, пошли везде выдумки — ничего и сообразить-то нельзя. Цена-то сегодня полтина, а завтра она рубль; ты думаешь, как бы тебе польза, ан выходит, что тебе же шею наколотят; вот и торгуй! Теперича, примерно, кожаный товар в ходу, сукно тоже требуется, — ну мы и сукно по малости скупаем, и кожи продаем: все это нашей совести дело-с. Намеднишь, доложу я вам, был я в Лежневе на ярмонке, — и что-то там комиссионеров наехало, ровно звезд небесных: все сапожный товар покупать. Конечно-с, ихнее дело простое. Казна им, примерно, хоть рубль отпускает, так ему надо, чтоб у него полтина или так сорок копеек пользы осталось. А с мужиком ему дело иметь несподручно. Этот хоть, может, и больше пользы даст, да оно не покойно: неровен час, следствие или другая напасть — всем рот-от не зажмешь. Опять же и отчетностью они запутаны; поди да каждого расписываться заставляй, да урезонивай, чтобы он тебе, вместо полтины, рубль написал. А как с опытным-то дело заведешь, оно и шито и крыто; первое дело, что хлопот никаких нет, а второе, что предательству тут быть невозможно, почему, как купец всякий знает, что за такую механику и ему заодно с комиссионером не одобровать. Эта штука для нас самая выгодная; тут, можно сказать, не токмо что за труд, а больше за честь пользу получаешь.

«Сокуров (важничая). Да; с казною дело иметь выгоднее всего; она, можно сказать, всем нам кормилица... (Наливает вино в бокалы. К Праздношатающемуся.) Не прикажете ли, не имеем счастья знать, по имени и по отчеству...

«Праздношатающийся. С охотою. (Пьет.) А где вы это, господа, такой здесь tenerиф достаете... отличный! И жжет и першит... славно! точно водка.

«Ижбурдин. Из Архангельска-с; мы тоже и тамotka дела имеем-с.

«Праздношатающийся (к Сокурову). Вот-с вы изволили выразиться, что с казною дело иметь выгодно. Не позволите ли узнать, почему вы так заключаете?

«Сокуров. Да-с, это точно-с, сами изволите знать... казна... выгодно...

«Палахвостов. Во то-то, молодец! брешешь! выгодно, а почему — объяснить не умеешь.

«Ижбурдин. А вот позвольте... вы, верно, комиссионер?

«Праздношатающийся (обижаясь). Почему же комиссионер?... Я просто для своего удовольствия... Желательно, знаете, этак, по торговой части заняться...

«Ижбурдин. Так вы приказный? Понимаем-с. Это точно, что ноньче приказные много насчет торговли займутся — капиталы завелись... Так вот, изволите ли видеть, с казною потому нам дело иметь естественнее, что тут, можно сказать, риску совсем не бывает. В срок ли, не в срок ли выставить, — казна все мнёт. Конечно-с, тут не без расходов, да зато и цены совсем другие, не супротив обыкновенных-с. Ну, и опять-таки оттого для нас

это дело сподручно, что принимают там всё, можно сказать, по-божески. Намеднишь вон я полушубки в казну ставил; только разве что кислятиной от них пахнет, а по прочему и звания-то полушубка нет — тесто тестом; поди-ка я с этими полушубками не токмо что к торговцу хорошему, а на рынок — насмех бы подняли! Ну, а в казне все изойдет, по той причине, что потребление там большое. Вот тоже случилось мне однажды муку в казну ставить. Я, было, в те поры и барки уж нагрузил: сплечь бы только, да и вся недола. Ан тут подвернулся прикащик от купцов заграничных — цену дает славную. Думал я, думал, да перекрестимшись и отдал весь хлеб прикащику.

«П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. А как же с казной-то?»

«И ж б у р д и н. С казной-то? А вот как: пошел я, запродавши хлеб-от, к писарю станového, так он мне, за четвертак, такое свидетельство написал, что я даже сам подивился. И наводнение, и мелководие тут; только нашествия неприятельского не было. (Все смеются.) Так оно и доподлинно скажешь, что казна матушка всем нам кормилица... Это точно-с. По той причине, что если б не казна, куда же бы нам с торговлей-то деваться? Это все единственно, что деньги в ланбарт положить, да и сидеть самому на печи, сложа руки.

«П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я (глубокомысленно). Да, это так... недостаток предприимчивости... Это, так сказать, болезнь русского купечества... Это, знаете... (Палаховостов улыбается.) Вы смеетесь? Но скажите, отчего же? Отчего же англичане, например, французы...»

«И ж б у р д и н. А оттого это, батюшка, что на все свой резон есть-с. Положим, вот хоть я предприимчивый человек. Снарядил я, примерно, караб или там подрядился к какому ни на-есть иностранцу выставить столько-то тысяч кулей муки. Вот-с и искупил я муку, искупил дешево — нече сказать, это все в наших руках — погрузил ее в барки... Ну-с, а потом-то куда ж я с ней денусь?»

«П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Как куда?»

«И ж б у р д и н. Да точно так-с. Позвольте полюбопытствовать, изволили вы по Волге плавать? Так это точно, что вы на этот счет сумнение иметь можете; а вот как мы в эвтом деле, можно сказать, с младенчества произошли, так и знаем, какая это река-с. Это река, доложу я вам, с позволения сказать-с. Сегодня она вот здесь, а на другой, сударь, год, в эвтом месте уж песок, а она во-куда побегла. Никак тут и не сообразишь. Тащишься-тащишься этта с грузом-то, индо злость тебя одолеет. До Питера-то из наших мест года в два не доедешь, да и то еще бога благодари, коли угодники тебя доехать допустят. А то вот не хочешь ли на мели посидеть или совсем затонуть; или вот рабочие у тебя с барок поубегут — ну, и плати за все в три-дорога. Какая же тут, сударь, цена? Могу ли я теперича досконально себя в эвтаком деле рассчитать? Что вот, мол, купил я по том-то, провоз будет стоить столько-то, продам по такой-то цене? А неустойка? Ведь англичанин-то не казна-с; у него нет этих ни мелководий, ни моровых поветриев; ему вынь да положь. Нет-с; наша торговля еще, можно сказать, в руках божьих находится. Вывезет Волга-матушка — ну, и с капиталом; не вывезет — зубы на полку клади».

Если вы не прислушивались внимательно к откровенным разговорам Ижбурдина и его товарищей, вы, пожалуй, предположите, судя по его привычкам, что он держится своего порядка коммерческих оборотов по личной склонности к такому порядку. Если вы не знакомы с ним ни по каким другим делам, кроме коммерции, вы можете вообразить, что он человек без души и совести. Но когда, узнав его поближе как человека, вы найдете в нем очень много хороших качеств и еще больше прекрасных зароды-

шей, остающихся неразвитыми и ожидающих только благоприятной поры для своего развития, вы, быть может, посовеститесь думать о нем так презрительно, как привыкли думать. Быть может, вы признаетесь, что вы поступили бы подобно ему, если бы находились в его положении; быть может даже, вы сказали бы, что этот человек, каковы бы ни были в настоящее время его коммерческие обороты, не только человек положительно добрый в душе, но и способный совершенно переродиться.

А быть может, вы человек, привыкший осуждать и хвалить поступки людей, не принимая в соображение силу обстоятельств, при которых невозможно образоваться в обществе благородным привычкам или невозможно отстать от дурных привычек. В таком случае вы прямо назовете пустяками мнение, высказанное нами. На такой решительный приговор позвольте отвечать вам рассказом о действительном случае. Рассказ этот уместен здесь. Он познакомит читателей с чертою из жизни человека, все силы которого были посвящены благу его родины.

Дмитрий Иванович Мейер, скончавшийся в Петербурге в начале прошлого года, профессор здешнего университета, около десяти лет занимал кафедру гражданских законов в Казанском университете. Постоянною мыслию его было улучшение нашего юридического быта силою знания и чести. Здесь не место говорить о его трудах по званию профессора, о его чрезвычайно сильном и благотворном влиянии на слушателей, которые все на всю жизнь сохранили благоговение к его памяти. Цель нашего рассказа требует только заметить, что задушевым его стремлением было соединение юридической науки с юридической практикой. Он устроил при своих лекциях в университете консультацию и сам занимался ведением судебных дел, разумеется, без всякого вознаграждения (это был человек героического самоотвержения), с целью показать своим воспитанникам на практике, как надобно вести судебные дела. Одно из таких дел и будет предметом нашего рассказа.

В том городе, где жил Мейер, был купец, раз или два с большою пользою для себя совершавший проделку, на которую решается Большаков (в комедии г. Островского). Приобретая опытность в этом выгодном упражнении, он вздумал еще раз объявить себя банкротом и предложил своим кредиторам получить по пяти или по десяти копеек за рубль. Прежние проделки такого рода удачно сходили ему с рук. Никто не мог или не хотел уличить его в злостном банкротстве. Он думал, что и теперь дело кончится по прежним примерам. Но Мейер сказал кредиторам, что готов взять на себя управление делами конкурса. Вице-губернатором был тогда человек благонамеренный, и Мейер мог вести дело строгим законным порядком. Долгого времени, большого труда стоило ему привести в порядок счета торговца, веденные, по общему обычаю, безалаберным образом и, сверх того, умы-

шленно запутанные и наполненные фальшивыми цифрами. Все средства подкупа, обмана и промедления были употреблены должником и его партизанами. Все напрасно. Мейера нельзя было ни запугать, ни обольстить, ни обмануть. Он сидел над счетными книгами и записками и, наконец, привел дело в ясность. Он доказал злостность банкротства, и банкрот был арестован. Месяц проходил за месяцем в известных переговорах между банкротом и его партизанами. Все их усилия оказывались напрасными. Банкрот сидел под арестом, Мейер был непоколебим. Так прошло около года. Наконец банкрот убедился, что не может ни обольстить Мейера, ни пересилить его. Он заплатил долги своим кредиторам и был выпущен из-под ареста. И прямо из-под ареста явился в квартиру Мейера. Как вы думаете, с какими словами? «Благодарю тебя, уважаю тебя, — сказал он своему бывшему сопернику: — на твоём примере увидел я, что значит быть честным. Через тебя я узнал, что я поступал дурно. У нас так принято делать, как делал я. Ты мне раскрыл глаза. Теперь я понимаю, что дурно и что хорошо. Из всех людей, с которыми имел я дело, я верю тебе одному. Во всех своих делах я буду слушаться тебя, а ты не оставь меня своим советом».

Факт, нами рассказанный, могут засвидетельствовать все, жившие тогда в том городе, где находился Мейер и производилось дело. Обратите же внимание на этого банкрота, вы, которые не верите в коренное благородство, во врожденную любовь и уважение к правде в душах, повидимому, самых загубелых и испорченных. В лице этого банкрота соединены были все те признаки, которыми может доказываться совершенная испорченность сердца, совершенная неспособность виновного обновиться для честной жизни: соединились все обстоятельства и побуждения, которые могут сделать признание правды противным самолюбию и эгоизму человека. Злостное банкротство есть одно из тех преступлений, которые требуют наибольшей ожесточенности сердца. Оно совершается не в минуту гнева или увлечения, оно совершается хладнокровно, обдуманно. Обдуманная решимость погубить многих людей должна господствовать в сердце преступника не несколько часов или дней, а целые месяцы, быть может, целые годы; потому что для исполнения его преступной мысли нужно ему очень долго хлопотать, чтобы, с одной стороны, получить все деньги от своих должников, с другой стороны — задолжать, как можно более, своим кредиторам и, не роняя своего кредита, значительно уменьшить наличный запас товаров в своих магазинах. Привести к желаемому концу эти различные операции, из которых одна препятствует другой, очень затруднительно для торговца. Наконец, когда цель достигнута, когда в магазинах нет товаров, когда получены все деньги с должников и роздано множество векселей, начинаются новые, труднейшие испытания, против которых устоит только самая черствая душа. Преступник объявляет себя банкротом

том и с этой минуты каждый день должен выдерживать самые возмутительные сцены. К нему являются люди, им разоряемые, они плачут перед ним, умоляют его, осыпают его проклятиями, — он должен оставаться хладнокровным и непоколебимым в своей решимости. Самый закоснелый разбойник, совершивший десятки убийств, содрогается сердцем от мольбы своих жертв и говорит, что если бы сцена убийства не была делом минуты, он не мог бы выдержать ее. Для банкрота подобные сцены непрерывно тянутся в течение недель и месяцев, и он непреклонно выдерживает свой характер. В этом страшном деле наш банкрот был не новичок. Не в первый раз занялся он им, когда встретил противником себе Мейера. Возвысить такого человека до любви к справедливости и добру было, кажется, делом гораздо более неправдоподобным, нежели обратить шайку разбойников в героев добродетели. И в чьем лице приходилось этому банкроту полюбить справедливость и доброту? В лице того человека, которого из всех людей в мире он должен наиболее ненавидеть. Наш банкрот считал себя непобедимым хитрецом — Мейер, раскрыв все его уловки, жесточайшим образом оскорбил его самолюбие; Мейер разорил его, надолго лишил его свободы, подверг жестоким страданиям продолжительного ареста — и этого жесточайшего гонителя и врага своего должен был полюбить человек с закоснелой душою, им оскорбленный, разоренный, измученный. Дело совершенно неправдоподобное для тех поверхностных наблюдателей, которые не знают, как много остатков и зародышей добра и благородства таится в душе самого дурного из дурных людей, которые забывают, что самый закоснелый злодей все-таки человек, т. е. существо, по натуре своей, наклонное уважать и любить правду и добро и гнушаться всем дурным, существо, могущее нарушать законы добра и правды только по незнанию, заблуждению или по влиянию обстоятельств сильнейших, нежели его характер и разум, но никогда не могущее, добровольно и свободно, предпочесть зло добру. Отстраните пагубные обстоятельства, и быстро просветлеет ум человека и облагородится его характер.

Такие люди, как Мейер, составляют редкое исключение во всяком обществе в каждое время. Их пример, конечно, самым благотворным образом действует на каждого, кто вступает в близкие отношения с ними. Сила их личности такова, что для человека, вовлеченного в сферу ее действия, уравнивается, часто даже превозмогается влиянием ее влияния всех других обстоятельств, действующих в противном направлении. Но число баярдов, людей «без страха и упрека», как Мейер, всегда и везде было так невелико, что сила их личного влияния могла отражаться лишь на незначительной части общества, которому они принадлежали. Пример жизни отдельного героя добродетели увлекает лишь нескольких отдельных людей, но не целые общества.

Напрасно успокаивать себя мечтою: пусть явятся добродетельные люди, и пример их исправит общество. В истории обществ пример не может иметь такой силы. Он важен, если указывает практический способ достичь цели, которой и без того каждому хотелось уже достигнуть, имея на то средства. Васко-де-Гама обогнул мыс Доброй Надежды, и тысячи кораблей устремились вслед за ним. Но это потому только, что уже и без Васко-де-Гамы, и прежде него всем хотелось доходить морем до Индии, а корабли были уже готовы. Но никогда в истории не может иметь пример такой силы, чтобы им устранилось действие закона причинности, по которому нравы народа сообразуются с обстановкою народной жизни. Десятки тысяч гордых своим достоинством и деятельных англичан живут в Индии среди народа, обстоятельства жизни которого сложились так, что главными чертами нравов его стала низость и лень. Обстоятельства эти до сих пор не устранены, и, как видим, индейцы попрежнему остаются низки и ленивы, хотя имеют перед глазами множество примеров противных качеств в англичанах. Но пусть англичане позаботятся об отстранении тех фактов, влиянием которых развратились и унизились индейцы; пусть постараются они вразумить индейцев, что нелепо факирство, что нелепы касты; пусть введут они законы, которыми возвращались бы человеческие права париям; пусть позаботятся об ограждении индийского земледельца и промышленника от презрительного обхождения и притеснений со стороны высших каст,² и] тогда немного нужно будет лет для того, чтобы воскресли в индийском народе трудолюбие, уважение перед законом, любовь к справедливости и чувство человеческого достоинства. Но оставим Ост-Индию и англичан. Пусть они воображают, что лучшее средство им утвердиться в Ост-Индии не приобретение преданности от индейцев, а приобретение Герата и Кандугара. Пусть они забывают, что если Великобритания с своими тридцатью миллионами населения не опасается никакого иноземного нашествия, то Индия с своими полутора миллионами населения не нуждалась бы, конечно, ни в каких Гератах, если бы признавала пользу защищать учреждения, которыми была бы обязана англичанам. Это дело одних предположений, которые мы сами готовы назвать праздными. И какое нам дело до всех этих азиатцев? Пусть себе ленятся. У них такой благодатный климат, что им очень можно лениться. Если бы, например, г. Буеракин жил в Ост-Индии, его нравы чрезвычайно хорошо пришлись бы к тропическому климату, и мы не сказали бы ни слова против его образа жизни. Он мечтает. Это было бы очень удобно и прилично на берегах Нербудды, под тенью бананов. Но мы думаем, что ему очень скучно мечтать в селе Заовражье и что, раньше или позже, соскучившись мечтать, он, подобно Ижбурдину и подьячему прошлых времен, вздумает заняться делом. Конечно, он будет поступать не так, как эти невежды. Он человек благородный

и просвещенный. Он захочет перенести в жизнь свои гуманные убеждения. О людях с гуманными убеждениями существует у нас поверье, будто они люди вовсе не практические и, принявшись за дело, сочинят такую путаницу, что для замешанного в нее народа будет тяжелее, нежели когда бы попался он в руки подьячему прошлых времен или даже самому Ивану Петровичу. В литературе было очень много заслуженных насмешек над такими людьми; и Щедрин, подобно другим нашим старикам, очень строго и справедливо уличает представителя непрактических людей с возвышенными стремлениями в очерке «Неумелые». Но Буеракин не таков. Он человек проникательный. Если он захочет взяться за дело, он сумеет повести дело, как нужно по его мнению.

До сих пор мы очень мало касались воззрений самого Щедрина на людей, им изображаемых. Типы и факты, о которых мы говорили, так просты, что между порядочными людьми не может быть никакого личного различия в понятиях о них. Никто не станет восхищаться подьячим прошлых времен и Ижбурдиным с товарищами. Но на людей, подобных Буеракину, можно смотреть различно. Слова его гуманны. Людям, зависящим от него, приходится жить очень плохо. Очень многие, не колеблясь, скажут, что он человек дурной, говорящий одно, делающий другое, лжец и лицемер. Мнение очень натуральное. Но Щедрин не разделяет его, и в том надобно видеть одно из убедительных доказательств редкого знания жизни и умения ценить людей. У Щедрина Буеракин вовсе не лицемер. Он не только говорит о благе общем, он действительно желает его, насколько понимает. Скажем больше: в том кругу жизни, который зависит от него, он приводит в исполнение те мысли, которые кажутся ему справедливыми. Справедливо сам Буеракин называет себя человеком отменно добрым. Весь тон рассказа свидетельствует, что Щедрин разделяет это мнение. Как честный докладчик, Щедрин нисколько не скрывает тех дурных вещей, которые допускаются или даже делаются Буеракиными. Об этих вещах говорит он с справедливым негодованием, и, однако же, все-таки видно, что он расположен к Буеракину, хотя за многое строго осуждает его. Щедрин не мог бы иметь «добрым приятелем» человека дурного.

Каким же образом человек добрый и хороший, человек с очень просвещенным образом мыслей и проникательным умом может позволять делать такие дурные вещи, как Буеракин? Многие скажут: это потому, что он человек бесхарактерный, слабый, изленившийся. Сам Буеракин отчасти намекает на такое объяснение, конечно выгоднейшее для его доброго имени. Он, видите ли, представляет себя чем-то вроде Гамлета, человека сильного только в бесплодной рефлексии, но слабого на дело, по причине отсутствия воли. Это уж не первый Гамлет является в нашей литературе, — один из них даже так и назвал себя прямо по имени

«Гамлетом Шигровского уезда», а наш Буеракин, по всему видно, хочет быть «Гамлетом Крутогорской губернии». Видно немало у нас Гамлетов в обществе, когда они так часто являются в литературе, — в редкой повести вы не встретите одного из них, если только повесть касается жизни людей с так называемыми благородными убеждениями.

Однако ж мы не остановимся на одном прозвании таких людей; нам мало имени, мы хотим знать дело, — мы хотим знать, почему Гамлет — Гамлет, то есть человек, при всех прекрасных качествах своей души делающий мучением для самого себя и причиною гибели для тех, судьба которых от него зависит, и которым он очень искренно желает добра, — например, причиною гибели Офелии и Лаэрта. Одною слабостью характера при силе ума, склонного к рефлексии, этого дела не объяснишь: мало ли людей с слабым характером, сильным умом и склонностью к рефлексии проживают свой век очень счастливо для себя и для близких к себе? Есть тут другое обстоятельство: Гамлет находится в фальшивом или, проще сказать, ненатуральном положении. Он, как сын, должен был бы любить свою мать и, однако же, должен ненавидеть ее, как убийцу своего отца. Он искренно и очень горячо любит Офелию — и, однако же, не считает приличным для себя жениться на ней. Положение обоих дел так противоестественно, что может наделать чепухи в голове человека и не имеющего склонности к рефлексии, может повести к поступкам нелепо непоследовательным и пагубным для него самого и для других даже такого человека, который не отличается особенною слабостью воли. Только немногие негодяи, одаренные очень редкою бессовестностью, или еще менее многочисленные счастливы, одаренные железным стоицизмом, могли бы поступать благоразумно и быть счастливы на месте Гамлета. Из ста человек девяносто девять, будучи в его положении, точно так же мучились бы, наделали бы точно таких же бед и себе и другим. Различие темпераментов относительно таких дел имеет мало важности. В том и заключается всемирное значение драмы Шекспира, что в Гамлете вы видите самих себя в данном положении, каков бы ни был ваш темперамент.

Взглянем же с этой точки зрения на нашего Буеракина. Оставим на время психологические особенности его характера. Всмотримся только в его положение, и для вас будет ясно, почему он, говоря так хорошо, поступает так дурно. Отношения его к людям, судьба которых от него зависит, также не натуральны, как отношения Гамлета к Офелии. Любить женщину и не желать назвать ее своею женою, желать добра людям и вместе с тем брать у них необходимое им, для удовлетворения своим прихотям, — которое из этих двух положений кажется вам менее противоестественно, менее фальшиво? На наши глаза оба они равно не натуральны, равно дурны.

Многие обвиняют Буеракина в неверности своим убеждениям; быть может, и вы, читатель, назвали его лицемером? В таком случае вы выразились неосторожно и неосновательно. Измена убеждениям! Мизантропы говорят, что это нравственное преступление совершается людьми гораздо реже, нежели как кажется; что человек, сознательно изменяющий своим основным убеждениям, человек, у которого мысль раздвоилась с желанием, такое же редкое явление, как человек, у которого правая половина лица не похожа на левую. Берне, — кажется, он не слишком выгодно думал о людях и достаточно бранил их, — Берне прямо говорит, что едва ли когда-нибудь хотя один человек изменял своим убеждениям. Едва ли не придется согласиться с Берне, если только не будешь обольщаться общими фразами, принимающими различные оттенки смысла в различных устах, и станешь внимательно присматриваться к точному содержанию убеждений. Часто сам человек не замечает истинного содержания своих убеждений, воображает, что он думает вовсе не то, что в самом деле он думает, — вот хотя бы, например, Буеракин. Он от искренней души называет себя «негодным» человеком, то есть негодным для жизни и для принесения пользы ближнему, и воображает, что в самом деле считает себя человеком негодным. А на самом деле неужели таково его убеждение о себе? Постороннему человеку это виднее, нежели ему самому. Послушайте только, что он отвечает через несколько строк Щедрина на вопрос о его лени и бездействии. Щедрин говорит: вы ничего не делаете и воображаете, что ничего полезного нельзя сделать.

«— Угадали, — говорит Буеракин: — угадали. Но от вас ускользнули некоторые подробности, которые я и постараюсь объяснить вам. Первое дело, которым я занимаюсь, — это мое искреннее желание быть благотельным помешком. Это дело не трудное, и я достигла достаточно удовлетворительных результатов, коль скоро как можно менее вмешиваюсь в дела управления. Вы, однако ж, не думайте, чтоб я поступал таким образом из беспечности или преступной лени. Нет, у меня такое глубокое убеждение в совершенной ненужности вмешательства, что и управляющий мой существует только для вида, для очистки совести, чтоб не сказали, что овцы без пастыря ходят... Поняли вы меня?»

«— Ну, тут еще не много работы...»

«— Больше, нежели вы предполагаете...»

Конечно, в этом монологе есть оттенок иронии, но под ирониею скрывается положительно доброе мнение о своей деятельности. Да и каков смысл самой иронии? Он очень ясен. «Правда, я делаю кое-что хорошее; но столько ли еще хорошего способен был бы я сделать, если б дано было мне более обширное поприще деятельности!» — А как же он сам себя, за минуту, называл «негодным» человеком? — Это ничего. Когда человек, не переводя духа, говорит о себе: «Правда, я дрянь, но все-таки я хороший человек», — в этой фразе нет нисколько противоречия. Не много нужно проницательности, чтобы видеть, какое именно

слово этой, повидимому, противоречивой фразы положительно выражает мнение говорящего. Это слово: «я хороший человек». Предыдущая половина фразы нимало ему не противоречит; напротив, она только усиливает его значение, имея такой смысл: «Ныне обстоятельства не дают обнаружиться моему превосходству во всем его объеме. Я не могу делать ничего достойного моих великих качеств. Теперь вы смотрите на меня, как на человека замечательного: но как вы удивились бы моей гениальности и моему благородству, если бы обстоятельства когда-нибудь позволили проявиться всему богатству моей натуры!» В сущности Буеракин вовсе не считает себя человеком недействительным и бесполезным. Напротив, мысль о противоречии его поступков его убеждениям не приходит ему и в голову. Напротив, он гордится своим образом действий, как совершенно сообразным с его убеждениями. Приведенная нами выписка убедит каждого, что ленивость ленивца действительно не мешает ему быть человеком деятельным. Внимательное рассмотрение его убеждений докажет, что какова бы ни была его деятельность, но она сообразна с его убеждениями.

В самом деле, положение человека имеет решительное влияние на характер его убеждений. Чрез всю историю можно проследить тот неизменный факт, что при переходе человека из наблюдательного, теоретического положения к практической деятельности он обыкновенно очень во многом начинал следовать примеру своих предшественников в этом практическом положении, хотя прежде осуждал их образ действий. Односторонние и поверхностные теоретики называют это недобросовестностью. Но факт, столь всеобщий, не может зависеть от личных слабостей или пороков отдельных людей. Он должен необходимо иметь какие-нибудь основания в самой необходимости вещей. Дело в том, что с каждой новой точки зрения перспектива изменяется. Какому-нибудь французскому публицисту очень легко было осуждать английских министров за то, что они, лет пятнадцать тому назад, вели войну с Китаем для поддержания торговли опиумом. С своей точки зрения публицист был прав. Но если б ему самому случилось сделаться английским министром, он, по всей вероятности, продолжал бы войну за опиум, которую прежде так строго осуждал. Он сказал бы: «Конечно, торговля опиумом безнравственна, но она уже существует и не может быть искоренена моими усилиями, потому что сами китайцы ее хотят поддерживать. Если б англичане перестали продавать китайцам опиум, китайцы нашли бы себе других продавцов — американцев, французов, португальцев. Притом же честь английского флага была оскорблена китайцами. Этого нельзя оставить без наказания. Наконец, война ведется вовсе не за опиум, а за то, что китайцы нарушили договоры, с нами заключенные». И опять, с своей точки зрения, этот человек был бы прав. Добросовест-

ность его в обоих случаях одинакова, различен только его взгляд на вещи, и различие этого взгляда зависит от разности положений. В первом случае, как французский публицист, он не имел ни охоты, ни нужды принимать особенно близко к сердцу частные интересы Англии. Он решал дело единственно на основании идеи справедливости. Во втором случае, как английский министр, он должен заботиться об этих интересах. Если они не близки к его сердцу, тогда именно он был бы человеком недобросовестным и дурным. Его прежние товарищи, французские журналисты, скажут: «Он изменил своим прежним убеждениям!» Он будет отвечать им: «Нимало не изменял. Попрежнему я думаю, что справедливость выше всего. Но, вы согласитесь, справедливость требует, чтобы английский министр принимал в соображение интересы Англии. Торговля опиумом несправедлива. Но нелепо было бы англичанам передать эту торговлю в руки своих соперников. Если бы она могла быть прекращена, мы отказались бы от нее. Но прекратиться она не может. Ее поддерживают сами китайцы. Они повсюду ищут опиума. Или вы хотите, чтобы мы завоевали Китай для истребления в китайцах насильственными мерами привычки к курению опиума? Завоевание Китая нами было бы единственным средством прекратить торговлю опиумом. Видите ли, в какое противоречие вы впадаете? Для прекращения нашей войны с Китаем вы требуете, чтобы мы завоевали Китай. Вы не хотите понимать настоящего положения дел и требуете вещей несообразных и невозможных, — вещей более несправедливых, нежели самая война за опиум. Прежде я, подобно вам, не знал фактов, судил по отвлеченной теории. Я нимало не изменил своим прежним убеждениям. Справедливость выше всего. Но в чем справедливость? — вот вопрос. Чтобы разрешить его, нужно знать факты. Прежде я, подобно вам, не знал их; теперь знаю. Вот вся разница между вами и мною». С своей точки зрения, он будет совершенно прав.

Итак, два различные положения необходимо ведут к двум различным взглядам на вещи. С изменением положения человека изменяется его точка зрения, изменяется и характер его убеждений. Но к чему нам говорить об Англии и англичанах? Иной может сказать, что в наше время люди дурны, что в наше время нет твердости убеждений. Лучше мы сошлемся на другой пример, заимствуемый из мира непоколебимых убеждений и непреклонных характеров, из мира римского. Лет тысячи за две до нашего времени Цицерон наделал страшного шума, нападая на гнусные, по его мнению, поступки Верреса в Сицилии. Страшно дурным человеком выставил он несчастного Верреса: нарушителем всех законов, нарушителем всякой правды и совести, грабителем, убийцей и т. д., и т. д. По словам Цицерона, оказывалось, что никогда еще в мире не бывало негодяя и злодея, подобного Верресу. Веррес струсил и бежал из Рима, не защищаясь.

Совершенно напрасно. Почему бы ему не защищаться? Разве не было у него оправданий? Он мог бы сказать Цицерону, например, следующее: «Мой друг! вы не были пропретором в Сицилии. Вы не знаете этих людей. Войдите в мое положение. Я же лал бы знать, что вы сами стали бы делать на моем месте? Вы говорите об уважении к законам. Я сам уважаю их не меньше, нежели вы. Я был в Риме Praetor Urbanus *. Скажите, нарушал ли я тогда законы? Допускал ли я подкуп и клятвопреступление в суде? Нет. Вы этого не можете сказать. Вы видите, в городе, где возможно правосудие и законность, я строго держался этих священных принципов. Но знаете ли вы Сицилию? В этой стране нет понятия о честности, о законности. Если бы вы, мой друг, вздумали там решать какую-нибудь тяжбу по римским законам, говорящим, что приговор должен быть основан на документах и на показаниях свидетелей, вы, мой друг, ни одного дела не решили бы справедливо: вам представили бы фальшивые документы, облеченные в строго легальную форму; вам представили бы ложных свидетелей, показания которых были бы неопровержимы по правилам легальности; знаете ли вы, мой друг, что в Сицилии за какие-нибудь десять сестерциев составят вам какой угодно фальшивый документ, что вы на рынке найдете тысячи людей, готовых дать какое угодно показание в вашу пользу за пять сестерциев? Пропретор Сицилии имеет подчиненных ему судей и администраторов — все они продажные плуты; вы можете сколько угодно сменять и наказывать этих людей, — преемники их будут точно таковы же. Таковы, топ шер ** (как говорят в Галлии), нравы сицилианцев. Вас обманывали бы на каждом шагу. Если бы вы восстановили против себя этих людей, вас поймали бы в такую ловушку, что вы лишились бы и своего пропреторства и головы. Теперь вы обвиняете меня в административных злоупотреблениях — наказанием может мне за то служить только изгнание из вашего города Рима (в котором я и жить не хочу — мне гораздо приятнее жить в Афинах, между образованными людьми, нежели в вашем полудиком Риме), — а если бы я восстановил против себя людей, с которыми я имел дело в Сицилии, этих взяточников и плутов, они обвинили бы меня в измене Риму, и я, топ шер, рисковал бы головою. И какой полезной цели я достиг бы, восстанавливая против себя всех и каждого в Сицилии? Неужели мне удалось бы в самом деле водворить вашу законность и справедливость? Знакомы ли вы, топ шер, с иберийцем Сервантесом? Вы хотите, чтобы я разыгрывал в Сицилии роль Дон-Кихота. Carissime! *** глупо сражаться с ветряными мельницами. Поверьте: не нам с вами оста-

* Городской претор. — *Ред.*

** Дорогой мой. — *Ред.*

*** Мой дражайший. — *Ред.*

новить могущественное действие крыльев, движимых силами стихий. Благоразумному человеку лучше всего быть мельником и брать за свой труд по горсти от медимна, доставляемого на обработку в его мельницы».

Мы не знаем, что мог бы отвечать Цицерон на эти возражения? Юлий Цезарь, конечно, не смутился бы ими. Он просто сказал бы: «Надобно с Сицилией поступить так, как я поступил с Транспаданскою Галлией. Я дал жителям ее право римского гражданства. Теперь транспаданцы управляются собственными сановниками. Нет у них ни пропреторов, ни тех порядков или беспорядков, которые существовали до моего времени». Но Цицерон был враг Юлия Цезаря и его благотворных для римского государства действий. Он осуждал Юлия Цезаря как врага Римской республики; он старался запутать Юлия Цезаря в дело Катилины. Он хотел задушить Юлия Цезаря рукою палача, как задушил Лентула. Он не мог бы согласиться с мнением Юлия Цезаря о деле Верреса и сицилианцев.

Вот, в этом деле мы имеем трех людей, занимающих различные положения. Веррес — пропретор, Цицерон — юрист, очень благонамеренный, но ровно ничего не понимающий в историческом ходе событий своего времени; Юлий Цезарь — государственный человек. Сообразно различию своих положений каждый из них смотрит на дело совершенно различными глазами. Веррес думает: «Сицилианцами нельзя управлять с соблюдением законности и справедливости. Но, между тем, нужно же как-нибудь управлять ими. Я поставлен в необходимость управлять ими так, как я управляю». У него исходный пункт — нравы сицилианцев. Цицерон говорит: «Законы должны быть уважаемы. Кто нарушает их, тот злодей и должен быть наказан. Ты, Веррес, нарушал законы, ты злодей и должен быть наказан». У него исходная точка — буква закона. Обстоятельств он не принимает в соображение. С своей точки зрения каждый из них прав. Но и тот и другой поставлены своим положением на одну стороннюю точку зрения. И оба, могущие быть равно добросовестными, равно гибельные люди для Сицилии. Веррес управляет Сицилией незаконно, но думает, что иначе управлять ею нельзя. Цицерон хочет, чтобы Сицилия управлялась по законам, но не понимает, что это невозможно при том состоянии и на тех условиях, в каких поручена Сицилия Верресу. Но есть третья точка зрения, принадлежащая Юлию Цезарю, государственному человеку, положение которого внушает ему принимать в соображение как требования легальности, которыми исключительно занят юрист Цицерон, так и обстоятельства дел, которыми исключительно занят администратор Веррес. Юлий Цезарь говорит: «В настоящем положении дел Сицилией нельзя управлять законно и справедливо. В этом прав Веррес. Но незаконное управление пагубно и несправедливо: в этом прав Ци-

цирон. Итак, нужно изменить положение дел в Сицилии. Средства к тому я уж показал, дал Транспаданской Галлии права римского гражданства. Этим я улучшил нравы транспаданцев и водворил в Транспаданской Галлии законный порядок, которого прежде не существовало в ней».

Все это мы говорили к тому, чтобы показать, как различные точки зрения на предмет необходимо вытекают из различных положений человека. Различие темперамента, даже (страшно сказать) различие в нравственных качествах человека ничтожно бывает перед влиянием его положения на образ его мыслей. Веррес был дурной человек (положим, хотя на то нет неопровержимых доказательств), но подобно ему в его положении действовали и все другие римские проквесторы, пропреторы и проконсулы, — и Катон, и Брут, и сам Цицерон, когда был проконсулом. — Цицерон был хороший человек (положим, хотя многие в том сомневаются), — в таком случае Гортензий, выступивший ему противником в тяжбе Верреса, был, вероятно, дурной человек. Но Цицерон и Гортензий оба в совершенно одинаковом духе обрабатывали римское право. И, конечно, никто не скажет, чтобы нравственные недостатки юристов когда-нибудь отражались в духе законов, им составляемых. Хотя бы юрист был убийца и разбойник, он никогда не напишет законов, покровительствующих убийству и разбою. Джеффрейз, с которым наши читатели знакомы из Маколея, был величайший в мире злодей и негодяй. Каждое его действие было преступно; но, однако же, истолкования закона, которые составлял он, по обязанности канцлера, составлены совершенно верно духу английского законодательства и до сих пор уважаются английскими юристами. В нравственном отношении Юлий Цезарь был, конечно, ниже Цицерона; по всей вероятности, был ниже Верреса. По крайней мере Верреса не ловили переодетого в женское платье в комнатах жен его приятелей, как ловили Цезаря; Веррес не поступал с своими товарищами по преторству так нагло и бессовестно, как Цезарь с своим товарищем по консульству, Бибулом. Но он был истинно государственный человек, и этого было довольно. Каков бы ни был он сам, но его правление было мудро и благотельно для государства. Цицерон пробовал братья за правление и, при всей своей честности, каждый раз делал страшную беду своему отечеству только потому, что не мог становиться на точку зрения государственного человека.

Если положение человека имеет столь решительную силу над его деятельностью, над миром фактов столь твердых, определенных, неуступчивых, то, конечно, не меньше силы должно оно оказывать над его убеждениями, предметом столь общим, гибким, изменчивым. Утопить или вытащить из воды человека — вот факты: в них нет двусмыслия, в них невозможна ошибка. Я топлю человека: я не могу ошибаться в смысле своего действия.

Я никак не могу скрыть от себя, что я лишаю его жизни. Я вытаскиваю его из воды — опять для меня невозможны никакие недоразумения. Я совершенно определительно знаю, что я спасаю ему жизнь. Таковы ли отношения человека к общим мыслям, к отвлеченным понятиям? Каждое слово, входящее в формулу моих убеждений, допускает столько различных оттенков смысла, принимает столько истолкований! Тут очень легки произвольные недоразумения пред самим собой; тут открыто, при всей добросовестности человека, самое широкое поле заблуждения перед самим собой. У трех людей в различных положениях на устах одна и та же фраза, о которой каждый из них говорит, что она выражает основное его убеждение: «я хочу справедливости», говорят и Веррес, и Цицерон, и Юлий Цезарь. Значит ли это, что они сходятся в своих убеждениях и стремлениях? Не торопитесь объявлять их людьми одинакового образа мыслей. Прежде разберите, в каком смысле представляется эта фраза каждому из них. Говоря «я хочу справедливости», Веррес говорит: «я хочу, чтобы меня оправдали за мое управление Сицилиєю. Несправедливо было бы наказать человека за то, что он не соблюдал формальностей, соблюдение которых было для него физически невозможно». Тою же самою фразою «я хочу справедливости» Цицерон говорит совершенно иное: «я хочу, чтобы наказан был Веррес. Справедливость требует, чтобы человек, нарушивший законы, был наказан по законам». Опять тою же самою фразою «я хочу справедливости» Юлий Цезарь говорит совершенно иное: «я хочу низвергнуть Помпея и Цицерона. Справедливость требует, чтобы государство было управляемо сообразно с своими потребностями. Помпей и Цицерон совершенно не понимают этих потребностей и вводят Рим в бесконечные бедствия. Справедливость требует, чтобы они удалились от дел, заниматься которыми неспособны, и чтобы эти дела поручены были человеку, который один в целом Риме способен вести их надлежащим образом с выгодой для государства, то есть поручены были мне. А что касается до тяжбы Цицерона с Верресом, это нелепость, основанная на тупоумных односторонностях той и другой партии. Справедливость требовала бы объявить торжественно на форуме и Цицерона и Верреса глупцами; но так как это дело пустое, то лучше его бросить». Да, очень различен бывает смысл одних и тех же слов в различных устах.

Весь этот эпизод, быть может, слишком длинный, клонится к тому, чтобы [защитить] Буеракина, давно нами покинутого под тяжестью обвинения, будто бы его действия противоречат его убеждениям. Нам кажется, что обвинение против него взведено совершенно напрасно. Если вы, читатель, пренебрегаете Буеракиным, как человеком двуличным, как эгоистом, жертвующим своими убеждениями своей лени или выгоде, вы вве-

дены в совершенное заблуждение, и притом очень грубое заблуждение, поверхностным предположением, будто бы Буеракин смотрит на вещи такими же глазами, как вы (я предполагаю, что вы смотрите на вещи такими же глазами, как я, — предположение также, быть может, ошибочное); вы введены в ошибку тем, что он употребляет фразы, которые употребляет вы, что он любит слова, входящие в состав этих фраз, точно так же, как вы. Но с чего же взяли вы, что под этими словами он понимает то же самое, что понимаете вы? Вникните хорошенько в выражения, которыми он окружает свои слова, одинаковые с вашими словами, и вы убедитесь, что в сущности он придает этим словам тот самый смысл, о каком свидетельствуют его поступки; вы увидите, что теоретическая сторона жизни этого человека совершенно соответствует практической; вы увидите, что Буеракин человек, верный в жизни своим убеждениям. Ключ к убеждениям Буеракина находится в тех фразах, которые произносит он по случаю ссоры между Абрамом Семенычем и Федором Карлычем. По его мнению, Федор Карлыч прав, и сверх того без Федора Карлыча плохо пришлось бы самому Абраму Семенычу и его товарищам, как людям непривычным и неспособным к порядочной жизни. Кроме того, Буеракин совершенно убежден, что может положиться на Федора Карлыча, который верно соблюдает выгоды его, Буеракина. В этих убеждениях разгадка всей личности Буеракина, всего образа его мыслей и всей его жизни. Если вы убедитесь в том, вам трудно будет не признать полной добросовестности Буеракина. Вам могут не нравиться его убеждения, но вы не откажете ни убеждениям этим в искренности, ни лицу его в строгой честности и благонамеренности.

Мы много раз упоминали о том, что различие темпераментов и личных склонностей не имеет столь важного влияния на образ жизни и деятельность людей, как многие предполагают. У Владимира Константиныча Буеракина есть родственник, с которым знакомит нас Щедрин в монологе, имеющем эпиграф: «*vir bonus dicendi peritus*»*. Темпераментом этот родственник совершенно отличается от Владимира Константиныча. У Владимира Константиныча есть склонность к созерцательной жизни. У его кузена, напротив, чрезвычайно развита практическая. Тот — Платон, этот — Аристотель или даже Фемистокл. Так мы их и будем называть в нашей параллели, отчасти из подражания Плутарху, отчасти для краткости. Платон живет дикарем в деревне, Фемистокл — душа общества в губернском городе. Платон, как мы положительно знаем, человек холостой и любит волочиться. Фемистокл, по всей вероятности, женат, очень любит свою жену и совершенно верен ей (точно так же,

* Муж добродетельный, владеющий словом. — Ред.

как подруге, которую имеет, конечно, независимо от жены). У Платона нет детей; а если б и были, то, без сомнения, пошли бы по миру нищими. У Фемистокла, без сомнения, есть очень миленькие дети, и отец так заботится о них, что хотя и достанется им наследство после их родственника Платона, но отец, не жалея своих сил, старается еще более обеспечить их будущность. Платона все считают злоязычником и избегают встречи с ним, хотя в душе, а часто и на словах, все над ним смеются и никто его не боится, все, напротив, помыкают им. Фемистокла чрезвычайно любезен и осторожен в обращении, все находят удовольствие быть с ним в обществе, но все боятся его. Одну только общую точку можно отыскать в личностях Платона и Фемистокла: оба они чрезвычайно обходительны с людьми, низшими их по званию, и вообще очень гуманны в своем обращении. Словом сказать — трудно найти контраст более полный и резкий, нежели контраст между Платоном и Фемистоклом, но, однако же, при всем бесконечном различии в темпераментах и наклонностях, речь Фемистокла могла бы служить продолжением и во всяком случае должна служить дополнением к речам Платона. Чтобы убедить в том читателя, мы приведем начало этой мастерской речи, одной из лучших в книге Шедрина:

«Если вы думаете, что мы имеем дело с этою грязью, avec cette saignée, то весьма ошибаетесь. На это есть писаря, ну, и другие там; это их обязанность, они так и созданы... Мы все слишком хорошо воспитаны, мы обучились разным наукам, мы мечтаем о том, чтобы у нас все было чисто, у нас такие опрятные взгляды на администрацию... согласитесь сами, что даже самое *compte il faut* запрещает нам мараться в грязи. Какой-нибудь Иван Петрович или Фейер — это понятно; они там родились, там и выросли; ну, а мы совсем другое. Мы желаем, чтобы и формуляр наш был чист, и репутация не запятнана — *vous comprenez?* *

«Повторяю вам, вы очень ошибаетесь, если думаете, что вот я призову мужика, да так и начну его собственными руками обдирать... Фи! Вы забыли, что от него там бог знает чем пахнет... да и не хочу я совсем давать себе этот труд. Я, просто, призываю писаря или там другого, *et je lui dis: «mon cher, tu me dois tant et tant»* ** — ну, и дело с концом. Как уж он там делает — это до меня не относится.

«Я сам терпеть не могу взяточничества — фуй, мерзость! Взятки опять-таки берут только Фейеры да Трясучкины, а у нас на это совсем другой взгляд. У нас не взятки, а администрация; я требую только *должного*, а как оно там из них выходит, до этого мне дела нет. Моя обязанность только исчислить статьи: гоньба там, что ли, дорожная повинность, рекрутство... *Tout cela doit rapporter»* ***.

Много материалов для размышления представляет книга, «собранная и изданная г. М. Е. Салтыковым». Из двух или трех сот типов, представляемых записками его Шедрина, мы

* Вы понимаете? — *Ред.*

** И я ему говорю: «Дорогой мой, ты мне должен столько-то и столько-то». — *Ред.*

*** Все это должно приносить доход. — *Ред.*

рассмотрели только три. Из двадцати трех статей, составляющих «Губернские очерки», мы коснулись только некоторых страниц из пяти очерков. Тот, кто захотел бы обсудить все замечательное и важное в «Записках» Щедрина, должен был бы к двум томам его «Губернских очерков» прибавить двадцать огромных томов комментариев. Работа, — читатель, вероятно, ожидает, что мы скажем: громадная или утомительная? Нет, работа легкая и до такой степени заманчивая для пишущего, что трудно нам теперь сказать себе: «довольно, довольно, и без того статья уже длинна, вероятно, слишком длинна».

Читатели, по всей вероятности, совершенно разочарованы в своих предположениях содержанием нашей статьи. Читатели, вероятно, ожидали, что по поводу книги Щедрина мы будем говорить об общественных вопросах, которые возбуждаются «Губернскими очерками». Другие, быть может, думали, что мы коснемся художественных вопросов, ими возбуждаемых. Первая задача действительно имеет значительную привлекательность. Но пусть простят нас читатели. Гораздо интереснее показалось нам сосредоточить все наше внимание исключительно на чисто психологической стороне типов, представляемых Щедриным. Мы охотно признаемся, что этот личный наш вкус, быть может, ошибочен; но что ж делать? У каждого человека есть свои любимые пристрастия, есть свои любимые теории, есть свои любимые мысли, о которых он готов говорить кстати и некстати. У нас два таких пристрастия: во-первых, склонность к разрешению чисто психологических задач, во-вторых, склонность к извинению человеческих слабостей. [С этими двумя мыслями мы взялись за «Губернские очерки». Признаемся, нас очень мало интересовали все эти так называемые общественные язвы, раскрываемые в «Губернских очерках». Сказать ли откровенно? Мы даже придерживались той теории, что не дело беллетриста заниматься исцелением этих язв. Быть может, мы достойны за то названия людей, отставших от века, быть может, какой-нибудь остроумец найдет какую-нибудь точку сходства между нами и подьячим прошлых времен, а быть может, иной и благонамеренный, но слишком желчный человек скажет, что мы скорее защищаем, нежели осуждаем злоупотребления, против которых так благородно восстает Щедрин. Быть может даже, иной честный читатель пришлет нам негодующее письмо, в котором объяснит, что статья с таким направлением, как наша, была бы приличнее «Северной пчеле», нежели «Современнику». Упреки эти были бы горьки, но, по совести, мы не можем сказать, чтобы они были совершенно незаслуженны; пусть это решат другие, в своем деле никто не судья.] Нам показалось, что, защищая людей, мы не защищали злоупотреблений. Нам казалось, что можно сочувствовать человеку, поставленному в фальшивое по-

ложение, даже не одобряя всех его привычек, всех его поступков. Удалось ли нам провести эту мысль с достаточной точностью, пусть судят другие.

Что же касается литературных достоинств книги, изданной г. Салтыковым, — о них также пусть судят другие. «Губернские очерки» мы считаем не только прекрасным литературным явлением, — эта благородная и превосходная книга принадлежит к числу исторических фактов русской жизни.

«Губернскими очерками» гордится и долго будет гордиться наша литература. В каждом порядочном человеке русской земли Щедрин имеет глубокого почитателя. Честно имя его между лучшими, и полезнейшими, и даровитейшими детьми нашей родины. Он найдет себе многих панегиристов, и всех панегириков достоин он. Как бы ни были высоки те похвалы его таланту и знанию, его честности и пронизательности, которыми поспешат прославлять его наши собратия по журналистике, мы вперед говорим, что все эти похвалы не будут превышать достоинств книги, им написанной.